

П. Н. Сакулин

**КЛАССОВОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ПУШКИНА**

Вопрос о классовом самоопределении писателя составляет часть общего вопроса о социологическом истолковании его творчества. В распоряжении исследователя имеются, конечно, объективные данные, которые он находит прежде всего в художественных произведениях писателя и далее в конкретных фактах его биографии. Подобные данные позволяют с большой точностью прикреплять изучаемого автора к той или другой социальной среде и определять, следовательно, его классовую психологию. Тем не менее несомненную важность для этой работы представляет также момент субъективный, каким является акт самоопределения писателя. В сущности это — тоже один из конкретных фактов его биографии, биографии внутренней, в которой раскрываются психология и идеология писателя. Конечно, за нами остается право согласиться или не согласиться с поэтом, но

¹ Текст настоящей статьи был передан мною редактору сборника еще в июне 1926 года. 21 октября того же года статья читалась мною в качестве доклада в Пушкинской комиссии О. А. Р. С. Оказалось, что на ту же самую тему работал Д. Д. Благой, который уже успел издать интересную брошюру под заглавием «Классовое самосознание Пушкина. Введение в социологию творчества Пушкина» (М., 1927 г.). Раньше нас обоих к классовой проблеме в самосознании Пушкина и его современников подходили В. А. Львов-Рогачевский и Г. Е. Горбачев: первый в книге «Введение в изучение литературы дореформенной России» (1925; см. особенно стр. 87—92); второй — в книге «Капитализм и русская литература» (1925; см. особенно стр. 17—25). Свой текст я оставляю в редакции 1926 года.

П. С.

Август 1928 г.

мы должны выслушать его — будет ли то его поэтическая исповедь или отвлеченное рассуждение. Вооруженный другими, «объективными» материалами, исследователь может с успехом использовать субъективные высказывания писателя в интересах своей конечной цели — понять творчество писателя как историко-социальное явление.

По отношению к Пушкину эта задача кажется особенно благодарной. Гениальный поэт дворянского класса, Пушкин был преемником и глубоким мыслителем в вопросах исторических и социальных. С редкой настойчивостью стремился он осознать свою классовую ситуацию. В ранние годы это выражалось преимущественно в форме классового самочувствия, а в зрелые годы — в форме классового самосознания, продуманного самоопределения. 14-е декабря 1825 г. провело глубокую борозду в психологии поэта. Переживания, непосредственно предшествовавшие этому событию и сопровождавшие его финал, сильно потрясли Пушкина и заставили его многое переосмыслить заново. Знаменитая записка о народном воспитании (1826), как пограничный столб, стоит на рубеже двух периодов идеологического развития Пушкина.

II

Из старой Москвы, из культурной дворянской семьи мальчик Пушкин попадает в Царскосельский лицей, в привилегированное заведение, в которое, по уставу, принимались «отличнейшие воспитанники дворянского происхождения» (в проекте говорилось даже о воспитанниках «знатных фамилий», «особенно предназначенных к важным частям службы государственной»). Лицей находился в непосредственном ведении министра народного просвещения и под покровительством государя. Первый, пушкинский прием состоял из тридцати воспитанников. Из них пятеро носили титулованные фамилии (барона, графа, князя). Не-

сколько юношей (человек шесть),— говорит историк лицея, Дм. Кобеко,— происходили «из старинных, существовавших еще в московской Руси, фамилий», в том числе и Пушкин; «остальные же принадлежали к разряду служилых людей, приобретших дворянство в порядке служебном»; двое (Малиновский и Мартынов) были приняты как «сынновья начальствовавших в лицее лиц».

Лицейсты росли вблизи двора и гвардии, среди монументальных памятников, говоривших о «златых временах» пышного царствования Екатерины II, об историческом прошлом именитого дворянства. Впечатления от Отечественной войны с ее парадными лозунгами естественно сливались с тем, что история и устная традиция передавали о военной доблести «екатерининских орлов». Все эти впечатления тревожили юного Пушкина. Он сознавал себя частью избранного круга людей, привилегированного меньшинства, от которого, казалось, зависела судьба всей страны. Ведь и ему самому предназначалось место в одной из «важных частей службы государственной».

Подобные настроения отразились в лицейских стихотворениях Пушкина, хотя бы в той оде «Воспоминания в Царском Селе», которая читалась на экзамене 1815 г., или в оде того же года «На возвращение государя императора из Парижа». Царское Село настраивало на возвышенно-исторический лад и сближало с вычурной культурой XVIII века. Много лет спустя (в 1829 г.) с чисто юношеским пафосом поэт будет вспоминать «вечные следы» славного прошлого:

Еще исполнены великою женою,
Ее любимые сады
Стоят населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининных орлов.

В юном самочувствии Пушкина выделяются две черты.

Во-первых. Громкие подвиги исторических деятелей он ценит как средство, обеспечивающее народам свободу и культурный мир. Александр победил «пирана» Наполеона, и принес «спасение и благопводный мир земле». Юноша-поэт мечтает («На возвращение государя императора»):

И придут времена спокойствия златые,
Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,
В колчанах скрытые, забудут свой полет;
Счастливы селянин, не зная бурных бед,
По нивам повлечет плуг, миром изощренный;
Суда летучие, торговлей окрылены,
Кормами рассекут свободный океан.

И впредь поэт не перестанет лелеять «вольнлюбивые мечты» и ждать того времени, когда народы, «распри забыв, в единую семью соединятся».

Во-вторых. Лицеиста Пушкина не всецело прельщает жизнь двора и высшей знати. Конечно, лишь впоследствии Пушкин вполне оценит «порочный двор царей». Но и теперь юноша инстинктивно сторонится знатных вельмож и не стремится попасть в их блестящее окружение. Размышляя о судьбе, ожидающей его однокурников, Пушкин предвидит, как иной, «рожденный быть вельможей, не честь, а почести любя, у плута знатного в прихожей покорным плутом зрит себя». Эти люди наиболее достойны презрения, и Пушкин уже нашел для их определения выразительную формулу: «не честь, а почести любя» («Товарищам» перед выпуском, 1817). Поэт, только что встретивший свою восемнадцатую весну, знает, что он пойдет по другой дороге, чем, напр., князь Горчаков. Пожалуй, кое в чем нельзя не позавидовать сиятельному товарищу. Ему, баловню «фортуны своенравной», предстоит «путь и счастливый и славный»; светский успех обеспечен умному и симпатичному красавцу, и амур, без сомненья, будет к нему благосклонен. Другой удел ожидает нашего поэта. Он настроен элегически. Его стезя — «печальна и темна». На жизненном пиру он может

остаться одиноким и угрюмым гостем, среди толпы затерянным певцом. Но унынья нет в молодой душе. «И в жизни сей мне будет в утешенье мой скромный дар и счастье друзей», — мудро заканчивает Пушкин свое послание к Горчакову (1816). С аристократом Горчаковым Пушкин был в добрых отношениях, но его ближайшими друзьями оставались Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер, а вне лица — несколько гусаров, среди которых был не только Каверин, но и Чаадаев, который воспламенял в нем «к высокому любовь». Дороже всех соблазнов света песный круг друзей. Перед их нравственным судом склонялся Пушкин а не перед судом знати. «Что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного, невежды при звезде?» — говорит поэт в послании к Чаадаеву (1821). Еще в лице Пушкин осознал, что его призвание быть поэтом. В послании к Юдину (1815) с полным правом он мог сказать, что «с улыбкой сожаленья» смотрит «на пышность бедных богачей»; довольный «скромною судьбою» певца, он не чувствует нужды в горах серебра:

К чему певцам
Алмазы, яхонты, топазы,
Порфирные, пустые вазы,
Драгие куклы по углам?
К чему им сукна Альбиона
И пышные чехлы Лиона
На модных креслах и столах?
Какая нужда в зеркалах,
И ложе шалевое в спальней?
Не лучше ли в деревне дальней
Или в смиренном городке
Вдали столиц, забот и грома
Укрыться в мирном уголке,
С которым роскошь не знакома,
Где можно в праздник отдохнуть!

Воображение поэта превращает Царское Село в такой «смиранный городок». Стихотворение «Городок» (1814), как и некоторые другие, сходные с ним по мотивам, явно выдают свое «литературное» происхождение: в них больше

игры поэтической фантазии, чем действительности¹. Но несомненной «действительностью» являются вкусы и симпатии молодого поэта, которому хотелось бы жить в уютном, но простом домике, в стороне от «модного света», в обществе любимых книг, а в досужный часок поболтать с «добренькой старушкой» или с «добрым соседом» семидесяти лет, майором в отставке. Не любил он только попов да подъячих.

Пушкину «страшен свет». «Прочь от городов», призывает поэт в стихотворении «Сон» (1816): «Спешите же под сельский мирный кров», который обещает столько простых радостей. Размечтавшийся юноша тут же любовно вспоминает о мамушке своей, о прелести таинственных ночей, когда няня шопотом рассказывала ему о мертвецах, о подвигах Боввы, о Полкане и Добрыне. В лице «видится» Пушкину подмосковная деревня Захарово, манит к себе несложная жизнь средней руки помещика: легкий труд, чтение и сельские развлечения (послание к Юдину). Конечно, всё это — «привиденья», которые, «родясь в волшебном фонаре, на белом полотне мелькают», но привиденья, характерные для классового самочувствия молодого Пушкина. Как впоследствии Татьяна Ларина, он готов всю мишуру «высшего света», «всю эту ветшь-маскарада» отдать за полку книг, за дикий сад и за бедное жилище в деревенской глуши.

Вот где ищет истинного счастья сердце лицеиста. Помещицья усадьба, деревня сулят ему идиллическое уединение и творческий покой.

III

Окончив лицей (в 1817 г.), Пушкин, действительно, пошел не горчаковской дорогой. Правда, и он служил по Министерству иностранных дел. Но «важные части службы

¹ 27 марта 1816 г. в письме к Вяземскому сам Пушкин иронизирует над «философами и поэтами, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину».

государственной» слишком мало интересовали его. Служба для него — постылая необходимость. Государственного мужа и вельможи из Пушкина не вышло и не могло выйти. Его служебная карьера от начала до конца была чем-то жалким.

Высший свет, повидимому, был безразличен для молодого человека, жадно искавшего наслаждений. Он посещал великосветские дома. Пушкин сердился, видя, как в театре его друг вертится у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других. Но эта общественная среда не была для Пушкина родной стихией. В генерале Орлове он ценил «любезность, разум просвещенный», которые сочетались в нем «с душою пылкой, откровенной»; Орлов — «у прона верный гражданин». А генерал Киселев — человек «придворный», и потому ненадежный («на генерала Киселева не положу своих надежд» — см. послание Орлову 1819 г.). В послании также 1819 г. к лицейскому поварищу, кн. А. М. Горчакову, Пушкин отчепливо охарактеризовал свою позицию, на этот раз вне влияния каких-либо литературных образцов. Горчаков — «питомец мод, большого света друг». Более того, он — кровный сын этой среды. А Пушкин здесь лишь временный гость. И он «в неопытные лета, опасною прельщенный суею», тянулся к аристократам, «но угодел в чад большого света» и предпочел замкнуться в «мирный круг» близких ему людей.

И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую сильнее,
И где мы все прекрасного друзья,—
Чем вялое, бездушное собранье,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин — невежда законодатель,
Где Шепшинг — царь, а скука — председатель,
Где глупостью единой все равны.

Мотив еще в стиле лицейских стихов.

Другого, также «счастливого сына пиров», Всеволожского Пушкин убеждает из Петербурга, из «мертвой области рабов, капральства, прихотей и мод» приехать в «мирную Москву». Москва — «премилая старушка». И здесь, конечно, «на шумных вечерах» можно видеть «важное безделье, жеманство в понких кружевах, и глупость в золотых очках, и тучной знатности похмелье, и скуку с картами в руках». Но поэт надеется, что его друг оставит «круг большого света» и жить решится для себя («Всеволожскому», 1819).

Сам Пушкин охотно променяет «порочный двор царей, роскошные пирры, забавы, заблуждения на мирный шум дубрав, на пишину полей, на праздность вольную, подругу размышления». В деревне, «от суетных оков освобожденный», он учится «в истине блаженство находить» («Деревня», 1819). Он — писатель прежде всего. А творческие думы зреют лишь в «душевной глубине» и нуждаются в иных условиях, чем шумная жизнь большого света. И Орлову Пушкин обещает забыть «свои гусарские мечты» и сокрыться «с тайною свободной, с цевницей, негой и природой под сенью дедовских лесов».

Живя на юге, Пушкин легко отвык от сполочных пиров, «где праздный ум блескает, тогда как сердце дремлет, и правду пылкую приличий хлад объемлет». И тут, — как рассказывает он Чаадаеву (в послании 1821 г.), — он ухитряется найти уединение, в котором его «своенравный гений познал и тихий пруд и жажду размышлений».

Это один ряд фактов. Но есть и другой.

После 1817 г., в течение нескольких лет, Пушкин — во власти центробежных сил. Кажется, что они готовы оторвать его от родной классовой среды. Его охватила либеральная атмосфера эпохи декабризма. Он пишет вольные, по тогдашнему даже революционные, стихи, с портретом Лувеля ходит в театр; в деревне его, как «друга человечества», гнетет «мысль ужасная» о крепостном рабстве, о произволе «барства дикого», и он призывает «прекрасную зарю» «свободы просвещенной». Поэт восстал против дворянско-бюрократического уклада жизни. Готов

порвать с самыми основами классового мировоззрения. Идеиную дружбу водит Пушкин с Чаадаевым и декабристами, от Пущина и Рылеева до Пестеля. Легко поддается он байроническим настроениям, и вместе с своим Кавказским пленником лепит в далекие края «с веселым призраком свободы». Бросив опасного поэта в ссылку, правительство тем самым толкало его в стан своих врагов. Связь с коренной средой ослабевала, и поэт попадал в иной круг влияний. «Беззаконной кометой» вычерчивал Пушкин капризную траекторию своей жизни.

Повидимому, все условия складывались так, чтобы создать в Пушкине психологию отщепенства. Но этого не произошло. Последняя ссылка (в с. Михайловское) насильственно прикрепила его, «перекаати-поле», к земле; к русской почве. Оказалось, что ссылка шла навстречу его собственным устремлениям. Баллон-каптитф (ballon-caritif) может высоко реять над землей, но он — на привязи, на крепком канате. Психология Пушкина, как бы его молодая мысль ни была революционизирована, крепкими нитями соединялась с определенной общественной средой. Мы слышали, какая! стихийная тяга к деревне, к усадьбе, так сказать, нота усадебности, звучала в стихах Пушкина лицейского и послелицейского периода. Чувствуется, что грунтовой слой его психологии — психология усадебного помещика, не городского, не столичного дворянина, а именно усадебного. Самое движение декабристов, поскольку Пушкин был втянут в него, не смывало «грунтового слоя» его психики: теперь уже достаточно раскрыты классово-дворянские корни декабризма, при всем, конечно, идеологическом значении этого явления.

Ход событий 14 декабря дал Пушкину значительный материал для серьезных размышлений. Он подошел к их оценке, как вдумчивый историк, о чем свидетельствует уже записка «О народном воспитании» (1826).

Если лицей всей своей обстановкой мог питать в Пушкине историческое чувство, то события, пережитые

им самим, пипали его историческую мысль. Пушкин вступил в период классового самоопределения, твердого оформления тех элементов его идеологии, которые давно уже бродили в его сознании.

В другом месте (в книжке «Пушкин и Радищев») мне пришлось довольно подробно характеризовать историзм пушкинской мысли. Напомню лишь главное. Роковая ошибка декабристов, по мнению Пушкина, состояла в том, что вследствие недостаточности своего образования и особенно вследствие поверхностного знакомства с историей, они увлеклись «чужеземным идеологизмом», не поняли особенностей русской истории и вообще легкомысленно отнесли к законам политической жизни. Исторически мыслящий человек поймет «разницу духа народов, источника нужда и требований государственных», поймет, что «необъятная сила» русского правительства основана «на силе вещей», и не станет перенимать у других народов «политических изменений», которые вызывались там «силою обстоятельств и долговременным приготовлением». Во имя того же историзма осуждает Пушкин и автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Радищев мыслил и действовал как типичный сын рационалистического и антиисторического XVIII в. И у него нашел Пушкин «невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне». Всякая революция есть в глазах Пушкина бунт против законов истории. Сам он мыслит категориями исторической эволюции. В своем историзме Пушкин не был одинок: он выражал здесь характерную тенденцию своего века, получившего вместе с романтизмом идеи историзма и народности. Семена этих идей упали на добрую почву, какой была психология помещичьего дворянства.

Истинное просвещение, — не перестает повторять Пушкин, — требует уважения к своему прошлому, к истории своего народа. «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим», — говорит Пушкин в неоконченном «Романе в письмах»

(1829—1830). И герой этого романа грустно замечает: «Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!» В набросках 1831—1832 гг. «Госпи съезжались на дачу» та же мысль повторена почти буквально: «Прошедшее для нас не существует... Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». Как ни высоко ценил Пушкин ум Чаадаева, своего идейного учителя, он не мог оставить без возражений философического письма (1836), где Чаадаев дал полную волю своему скептицизму по отношению к русской истории. В обширном письме на французском языке (Переписка, III, 387—389) Пушкин горячо отстаивает внутренний смысл и огромную значительность русской истории. Он и сам видит ее недостатки, но решительно заявляет: «честью клянусь, что ни за что на свете не хотел бы я переменить отечества или иметь другую историю, чем история наших предков, какой ее дал нам бог».

Нет, Пушкин любит свою историю, какова бы она ни была. А значит, не отрекается и от истории своего класса и даже своего рода. Дворянство и Пушкины в частности делали историю. В этом их право на признание и уважение со стороны потомства.

Корнями своей психоидеологии ушел Пушкин в историческую почву. Он — не отщепенец своего класса, а глубоко почвенный писатель. Почвенность и усадебность — вот первые черты, характеризующие его социальную ситуацию.

IV

Еще в замечаниях 1822 г. Пушкин коснулся исторических судеб дворянства.

«Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения», — писал тогда Пушкин. После Петра аристократия неоднократно пыталась ограничить самодержавие; «к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным». «Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось

вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий пути к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; ныне же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все сословия пропиву общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставит нас наряду с просвещенными народами Европы».

Это говорит друг декабристов и недавний автор «Деревни» (1819), ожидавший, что рабство падет «по манию царя». Дворяне — феодалы, средостение между народом и царем. Хорошо, что им не удалось расширить своих прав.

Памятниками неудачной борьбы аристократии с деспотизмом остались два указа Петра III о вольности дворян, «указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее было бы стыдиться».

В царствование Екатерины II, которое вообще оценивается здесь резко отрицательно, положение дворянства сильно изменилось к худшему. Хотя, судя по предыдущим рассуждениям, в этом еще нет большой беды, и Екатерина как будто продолжала путь политику своих предшественников, но Пушкин патетически ставит императрице в вину то, что «возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство». Не нужно было ни ума, ни талантов, ни заслуг, чтобы попасть в число ее любимцев, которые помогали монархине унижать «дух дворянства». «Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам», и о прочих выходках екатерининских фаворитов. Развратная государыня развратила и свое государство. «От канцлера до последнего пропоколиста всё кралось, и всё было продажно». Около

временщиков наживались также их самые отдаленные родственники. «Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа».

В свете этих идей получает свое идеологическое значение эпиграмма «Жалоба», которую относят также к 1822 г., и которая, может быть, направлена против Д. П. Северина:

Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы знатный господин:
Таков об вас народный говор,
Высокородный Северин.
Потомку предков благородных,
Увы, никто в моей родне
Не шьет мне даром фраков модных
И не варит обеда мне.

Таковы были мысли Пушкина в 1822 г. Уже теперь нескрываемое презрение к новому дворянству, к выскочкам и вместе с тем отрицание феодальных привязаний старого дворянства. В центре внимания — крепостной народ, освобождение которого есть необходимая ступень к политической свободе страны. Пушкин — против дворян-феодалов во имя свободы народа¹.

Чтобы надлежащим образом оценить классовую идеологию, которую Пушкин набросал здесь вчерне и которую потом будет внимательно обдумывать, — стоит вспомнить, как решались те же проблемы самым авторитетным декабристом, Пестелем. Ведь Пушкин ставил последнего очень высоко. В кишиневском дневнике, под 9 апр. 1821 г., поэт записал свои впечатления от беседы с ним: «Умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

¹ Характерно, однако, что в тех же «исторических замечаниях» 1822 г. Пушкин порицает Екатерину за то, что она «явно гнала дуошеенство», влияние которого, особенно на крестьянство, было «благоприятно». Вообще «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». Этим, конечно, не определяются вполне религиозные воззрения самого Пушкина.

«Русская правда» Пестеля насчитывает до двенадцати «различных сословий, состояний или классов людей в России». На первом месте стоят: духовенство, дворянство и купечество. Такое положение вещей неминуемо вызывает «борьбу сословий и классов». В «нынешнем столетии» народы борются с «феодалной аристократией»; но возникает «аристократия богатств», «гораздо вреднейшая аристократии феодальной». Пестель боится капитализма, и бичует «исключительную любовь к деньгам», которая «граничит к скупости, а сей порок более всякого другого соделывает человека жестокосердым». Аристократия богатств приводит весь народ «в совершенную от себя зависимость» и умножает число бедных и нищих. Иного результата вообще трудно ждать от сословно-классового неравенства. Существование сословий и классов всего более противоречит интересам «массы народной». Отсюда принципиальный вывод, «что учреждение сословий непременно должно быть уничтожено, что все люди в государстве должны составлять только одно сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в государстве должны иметь одни и те же права и быть перед законом все равны»¹. Рассмотрев «преимущества», какими пользуется дворянство, Пестель приходит к радикальному заключению, что преимущества эти должны быть уничтожены вместе с самим званием дворянства, а члены оного должны быть расписаны по волостям, как прочие граждане. «Сии мероприятия принадлежат к числу самых важнейших и необходимейших действий для утверждения благоденствия России». В первую очередь должно быть уничтожено «рабство и крепостное состояние». Последнее требование, однако, обставлено характерными оговорками,

¹ Для сопоставления с Пушкиным важно отметить, что духовенство признается «отраслью чиновничества», «частью правительства и частью самую наипочтеннейшую»: «священнослужение необходимо для блага всех и духовных и мирян». Отсюда — предписание Верховному правлению озаботиться улучшением материального быта духовенства, особенно в селах.

что «такое важное предприятие требует зрелого об- суждения», должно быть осуществлено постепенно и так, чтобы не лишить дворян дохода, «ими от поместий своих получаемого». Мало того, дворянству предоставляется право участвовать в самом решении вопроса о своем по- ложении: «дворянство обязывается под руководством Вер- ховного правления пересмотреть свой состав и проекты об оном предсавить». Дворянство неожиданно пропиво- поставляется «всем прочим сословиям», которые «слива- ются в общее сословие российских граждан». А в заклю- чение данного раздела читаем еще одно интересное по- спановление: «Люди, оказавшие отечеству большие услуги, должны быть отличены от тех, которые только о себе думали и только о частном своем благе помышляли. Та- ковые лица должны особенными пользоваться правами и преимуществами. Вот главное правило, основанием дво- рянству служащее». Значит, с известными ограничениями, но дворянство сохраняется как группа людей, «оказав- ших отечеству большие услуги». Всё это полезно иметь в виду при оценке взглядов Пушкина на классовую про- блему.

В пятидесятых годах, после декабрьских событий, вопрос был подвергнут Пушкиным существенному пересмотру.

«История русского народа» Н. А. Полевого дала Пуш- кину повод заново осветить вопросы государственного и сословно-классового строя России. В третьей статье о Полевом (1830) отрицается существование древне-рус- ского феодализма: «феодализма в России не было, бояр- ство не есть феодализм; феодализм — частность, ари- стократия — общность». В отсутствии феодализма хорошего мало: «феодализма у нас не было — и тем хуже», ибо феодализм был бы первым шагом к независимости, а городские общины, если бы они развились, — вторым.¹

¹ Анненков усматривает здесь мысль о двух палатах: верхней (па- лата лордов) и нижней (Common-house). «Воспоминания и критические очерки», отдел третий (1881), стр. 238 (статья «Общественные идеалы А. С. Пушкина»).

У нас аристократия существовала в ее общем виде (феодализм — частность этой общности). Аристократия, состоявшая из «малых князей», была наследственной. «Отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом», а между тем вопрос: «было ли зло местничество? натурально ли оно?» Уже в древней Руси произошло расслоение дворянства, «и меньшее дворянство уничтожило местничество и боярство». Меньшее дворянство положило начало чиновничеству, бюрократии. «С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня...» Вот ее этапы: «Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства, уничтоженные мотовством Анны Ивановны¹. — Падение постепенное дворянства. — Что из этого следует? — Восшествие Екатерины II, 14-е декабря и т. д.».

Программа для целого исторического трактата. Идеологическая мысль Пушкина явно приняла другое направление, чем в двадцатых годах.

Нужно удивляться, с какой исторической обстоятельностью и с какой социологической точностью Пушкин тридцатых годов судит о классовой структуре современного ему общества. Поэт отчетливо видит экономические основы социальной жизни и борьбу классов. Особенную осведомленность обнаруживает он во всем, что касается дворянского класса. В бумагах 1832 г. имеется конспект записки о дворянстве; в ней формулированы главные вопросы и намечены ответы.

Вот в каком виде теперь представлял себе Пушкин историю русского дворянства и его состояние в тридцатых годах.

Пушкин исходит из наличного факта, что население государства состоит из разных классов (сословий), и что каждый из них выполняет свою функцию, имея, следовательно, свой *raison d'être*. Об отрицании классовой структуры, как принципа, не было и речи.

¹ «Русская Правда» Пестеля решительно отвергает систему майоратства.

Потомственное дворянство есть «сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами, касательно собственности и частной свободы». В этом определении четко указаны привилегированное положение дворянства и его экономическая база. Привилегии даны дворянству «народом или его представителями» «с целью иметь мощных защитников (народа) или близких и непосредственных к властям представителей». Дворянство состоит из людей, «которые имеют время заниматься чужими делами», т. е. из людей, «опытных по своему богатству или образу жизни». «Богатство доставляет способ не трудиться, а быть всегда голою по первому призыву du souverain». И образ жизни дворянина — свободный, не так, как у земледельца и ремесленника. «Земледелец зависит от земли, им обрабатываемой, и более всех неволен»; ремесленник же зависит от спроса на его товар. Пользуясь своей экономической самостоятельностью, дворянство развивает в себе следующие важные качества: «независимость, храбрость, благородство, честь вообще» (курсив Пушкина). Трудовым массам «некогда развивать эти качества», а народу в целом они нужны так же, как трудолюбие, поэтому «дворянство — la sauvegarde трудолюбивого класса». Значит, разделение народа на сословия вытекает из разделения труда: «трудолюбивый класс» (земледельцы и ремесленники) трудится на земле или в мастерской; трудолюбие — его главное достоинство; дворянство выполняет в государстве социально-политические функции высшего порядка, но в интересах всего народа и в частности того же «трудолюбивого класса». Свобода народа — в руках дворянства; вместе с дворянством гибнет и свобода. «Чем кончается (погибает) дворянство... в государстве» (т. е. в монархическом государстве, которое Пушкин тут же противопоставляет республике)? — спрашивает он и дает лаконичный, но выразительный ответ: «Рабством народа». Как видим, в противоположность заметке 1822 г., теперь дворянский феодализм признается наилуч-

шим средством гарантировать свободу народа. Цель — та же самая, но средство — другое. Дворянство — на аванпосах свободы.

Вот почему в другой заметке (1830) Пушкин твердо заявляет: «Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием всякого образованного народа. (Калмыки не имеют ни дворянства, ни истории)». Или еще в «Отрывке из литературных летописей» (1829): «Никто более нашего не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном».

Чтобы быть в состоянии осуществить свою государственную функцию, дворянство, — продолжает рассуждать Пушкин (в заметке 1832 г.), — должно обладать полной независимостью, что возможно лишь при сохранении «наследственных преимуществ высших классов общества». «В противном случае классы эти становятся наемниками и несут их обязанности». Цари хорошо понимали эту истину и сознательно стремились к ограничению независимости дворянского класса. Дело началось с уничтожения местничества, в котором находил себе своеобразное выражение принцип боярской чести. Пушкин с осуждением вспоминает, что один из его предков дал свою подпись под постановлением об уничтожении местничества («Родословная Пушкиных и Ганнибалов» и заметка о дворянстве 1832 г.). Настоящим революционером (разом Робеспьер и Наполеон) выступил Петр I. Его табель о рангах нанесла сильный удар наследственному дворянству. Отсюда начинается поспешное падение дворянства и быстрое развитие чиновничества, бюрократии. («Уничтожение дворянства чинами. Майоратства, уничтоженные плутовством. Падение постепенное дворянства»). В дальнейшем этому способствовали и грамота о вольности дворянской и реформа Александра I, когда законодательствовал Сперанский, этот наглый и невежественный попович

(porovitch turbulent et ignare)¹, которому, между прочим, Россия обязана указом 1809 г. о гражданских экзаменах, указом «слишком демократическим», по оценке Пушкина (в другой заметке). В результате всей эпохи революции, произведенной постепенно сверху, высшее дворянство фактически перестало быть наследственным, а превратилось только в пожизненное; деспотизм мог поразить свою победу. Унижение дворянства есть средство «окружить деспотизм преданными наемниками и задушить (d'étouffer) всякую оппозицию и всякую независимость». Между дворянством и бюрократией неминуемо должен был возникнуть острый антагонизм. Между тем «устойчивость (stabilité) — первое условие общественного счастья». Вопрос лишь в том, как сочетать эту устойчивость с бесконечным совершенствованием.

Пушкин утешает себя тем, что нынешний император, т. е. Николай I, начал контрреволюцию Петру: «он первый заложил плошину, пока еще очень слабую, против разлива демократии, худшей, чем демократия Америки». В этих словах 1832 г. Пушкин формулировал те ожидания, о которых он писал Вяземскому еще 16 марта 1830 г.: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра... Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу... Жду концертов и шуму за проект клуба». Ожидаемый проект должен был обрадовать дворянство, и, очевидно, Московский (Английский) клуб должен был бы ликовать. Вместе с тем предполагаемые реформы, по мнению Пушкина, задуманы «в смысле европей-

¹ У Пушкина есть также иные, положительные отзывы о государственной деятельности Сперанского: см. в дневнике под 2 апр. 1834 г. Поучительно образ Сперанского в понимании Пушкина сравнить со Сперанским в романе Толстого «Война и мир».

ского просвещения», т. е., можно думать, в смысле английской системы с ее майорапами. Ожидания, однако, не оправдались: «подавления чиновничества», этого принципиального врага дворянства, не произошло; ультрабюрократическая монархия Николая I крепко держалась за свой административный аппарат; в положении крепостных и дворянства существенных перемен не произошло. Прочие сословия получили в 1832 г. закон о потомственном почетном гражданстве.

22 дек. 1834 г. Пушкин имел разговор с великим князем Михаилом Павловичем о дворянстве и как раз коснулся только что названного постановления. Почетное гражданство присуждалось лицам из купеческого и других сословий. Так, в 1834 г. этим званием были наделены Боткины, Якунчиковы, Меншуткины и др. Обнародование в газетах списка новых потомственных почетных граждан, вероятно, и послужило поводом для разговора Пушкина с Михаилом Павловичем. Разговор записан поэтом в его дневнике. Великий князь высказался против института потомственных почетных граждан по двум мотивам: «зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? зачем составлять *tiers état*, сию вечную стихию мятежей и оппозиции?» Пушкин возразил по обоим пунктам. Первый аргумент великого князя затрагивал вопрос о наследственности дворянства («высшая цель честолюбия» — получение дворянского звания), и Пушкин говорил, «что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно, иначе как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что всё равно) всё будет дворянством»¹. «Вы — в родню», шуточно заметил Пушкин

¹ В заметке о русской литературе (1834) Пушкин опять отмечает «революционные» меры Петра, которые были предприняты им «по необходимости», но «которые потом не успел он отменить»; «например: дворянство, даруемое порядком службы, мимо верховной власти».

Михаилу Павловичу: «все Романовы — революционеры и уравниатели (niveleurs)». «Спасибо», — опоздался великий князь: «так ты меня жалуешь в якобинцы! благодарю, вот репутация, которой мне не хватало». Пушкин предпочитает сохранить древние права дворянства и не видит вреда в tiers état. Что же касается мятежного духа, какой приписывается tiers état, то старое дворянство, — Пушкин не хочет этого скрывать, — не менее мятежно: «Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью проптиву аристократии, и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много». Замечательный взгляд на классовую психологию родовитого дворянства и декабристов в частности.

Защищая преимущества дворянства, как высшего в государстве класса, Пушкин не отрицает права государей включать новых лиц в состав этого класса. «Достоинство — всегда достоинство, и государственная польза пребудет его возвышения», скажет он в отрывках «Гости съезжались на дачу» (1831—1832). Значит, степени родовитости и древности дворянских фамилий неминуемо будут различны. Возведение в дворянское звание должно бы быть исключительной прерогативой монарха, которой, конечно, он не должен злоупотреблять (как Екатерина II). Но русские цари с давних пор стремятся ослабить родовитое дворянство, сломить его гордость и силу, чтобы опираться на новое, служилое дворянство, или, что то же, на сильную бюрократию. Отсюда — расслоение дворянства, борьба внутри его.

Как вскоре увидим, последнему факту Пушкин придает огромную важность. Но существеннее всего вопрос об общем положении дворянского класса. С сожалением видит Пушкин, что не только «уничтожались» древние дворянские роды, но «уже падают, ничем не огражденные», новые

фамилии, заступившие место прежних (заметка 1830 г. «В одной газете»). «Древние фамилии приходят в нищентство, новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять... Пора положить этому границы» (роман в письмах 1829—1830 гг.). Нужны меры к «ограждению дворянства», взятого во всем его составе.

Едва ли нужно подчеркивать, что изложенная идеология носит чисто дворянскую окраску: теперь поэт уже не боится «чудовищного феодализма». Бюрократия — вот враг старого дворянства. Эта типичная черта будет выступать в психологии и идеологии также автора «Войны и мира».

V

Пушкин отчетливо сознавал те экономические и социальные условия, которые определяли собою исторические судьбы дворянства. Положение, создавшееся для этого класса, повело к его дифференциации. Рядом с старым, родовитым дворянством возникло новое дворянство, из которого выходили «знать» и бюрократия. На этом моменте Пушкин останавливается много раз, так как это вместе с тем и вопрос его собственного социального бытия.

Возникновение нового дворянства — историческая необходимость. Такой же неизбежностью является и политический упадок многих старых родов. С этим нельзя не примириться. «Понятна мне времен превратность, не прекословлю, право, ей», — говорит Пушкин в «Моей родословной» (1830). Но он не может не прекословить тому, как социально расцениваются топ и другой слои дворянства. Именно в эту сторону направлен идеологический пафос Пушкина.

Родовитое дворянство — творец русской истории и носитель истинной культуры. Родовитость — синоним культурности. Старое дворянство обеднело, ему не приходится уже играть прежней политической роли: оно превратилось в род среднего сословия, *tiers état*, «мещан», откуда выходит и интеллигенция, в частности писатели. Старое

дворянство может гордиться своим прошлым и защищать свое достоинство, свою честь. Нельзя без негодования говорить о тех родовитых дворянах, которые униженно заискивают перед новым дворянством.

Новое дворянство состоит из людей, сравнительно недавно выслужившихся. Принципиально говоря, — это в порядке вещей. Но всё же новое дворянство — большей частью — выскочки, parvenus. Они окружают трон, составляют аристократию, придворную знать. Немного исторических заслуг числится за ними. Прочной культуры у них нет и не может быть. Их отличительная черта — надменная спесь.

Пусть в состав аристократии, наряду с немногими уцелевшими старыми родами, входит также новая знать. Но аристократия вообще должна быть достойна своего положения в государстве, должна держаться на той высоте, на которой стояли знаменитые представители старого дворянства. А те, кто, вследствие превращений судьбы, образуют ныне среднее дворянство, заслуживают всяческого уважения и за историческое прошлое своего рода и за то, что они являются почтенным, просвещенным и трудолюбивым сословием в государстве; т. е., выражаясь новейшим языком, играют роль трудовой интеллигенции.

Вот резюме многочисленных высказываний Пушкина по данному вопросу. Приведу несколько типичных суждений в его собственной формулировке.

«Аристократию нашу составляет дворянство новое, древнее же пришло в упадок; его права уравнины с правами прочих сословий, великие имения давно раздроблены, уничтожены» (заметки о «Борисе Годунове», 1831).

«... Ныне знать нашу большей частью составляют роды новые, получившие существование уже при императорах... Имя дворянина, час-от-часу более униженное, стало наконец в прищучу и в посмеяние даже разночинцам, вышедшим в дворяне, и (праздным) досужим (журнальным) балагурам» (из заметки 1830 г. «В одной газете»).

«Путешествующий испанец» (в отрывке «Гости съезжались на дачу» 1831—1832 гг.) интересуется тем, что такое русская аристократия. По русским законам он видит, что «наследственной аристократии, основанной на неделимости имений», в России не существует, и что доступ к дворянству ничем не ограничен. «На чем же основывается ваша так называемая аристократия? разве только на одной древности родов русских замечательных (людей)?» — спрашивает испанец. Русский собеседник пространно ему объясняет его ошибку; «Древнее русское дворянство, вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего сословия; (благородная) чернь, к которой и я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха; но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность рода их восходит до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники, будь сказано не в упрек: достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках спесь, точно они потомки христианского барона Клермон-Тоннера...» Хотя дворянство собеседника — чрезвычайно древнее, и имена его предков встречаются на всех страницах истории, но он не мог бы назвать себя аристократом без риска насмешить многих. «Мы так положительны», продолжает он, «что мы на коленях пред настоящим случаем, успехом и славою, но у нас нет очарования древностию, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству... Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю. Но едва ли мы выслушали его. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди-дурака или балом двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности»¹.

¹ Цитированный отрывок (беседа русского с испанцем) относится к 1831—1832 гг., а между тем в дневнике Пушкина под 18 дек. 1834 г. есть любопытная запись, которая напрашивается на сравнение с отрывком

В том же духе высказывается Владимир Z*, герой неоконченного романа в письмах (1829—1830). Автор доверил ему самые дорогие свои мысли. «Небрежение», с каким дворяне относятся к своим обязанностям помещика, покидая имение и крестьян на произвол плута-приказчика, ведет к их постепенному разорению, и, следовательно, к упадку дворянства: «дед был богат, сын нуждается, внук идет помиру». Владимир Z* согласен с Лабрюером или, вернее, с автором: «Подчеркивать презрение к своему происхождению в выскочке просто смешно, а в дворянине есть подлость (*une lâcheté*). «Я без прискорбья», — продолжает Владимир, — «никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат». Эти слова имеют тем больший вес, что сам Владимир к старинному дворянству не принадлежал: он — «внук бородастого миллионщика». Вслед за автором он убежден, что истинной образованности свойственно уважать историческое прошлое: «Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины: но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим, и у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества». Владимир Z* с буквальной точностью повторил здесь то, что находится в заметке Пушкина 1830 г. («В одной газете»).

Итак, те, кого считают аристократией, столичной знатью, высшим светом, в огромном большинстве своем принадлежат к новому дворянству. Типичная для них пси-

«Гости съезжались». 17 дек. на вечере у С. (вероятно, у А. О. Смирновой, догадывается Б. Л. Модзалевский) Пушкин беседовал с секретарем шведско-норвежского посольства Нордингом (Густавом Нордином) о гербах русского дворянства, утверждая, что «гербы наши все весьма новы».

хология была схвачена Пушкиным очень рано. Еще в стихотворениях лицейского периода и непосредственно к ним примыкающих он метко характеризовал столичную аристократию. Именно о ней было сказано, что она любит «не честь, а почести» («Товарищам», 1817) и что она «без гордости спесива» («Горчакову», 1819), именно там встретишь «холопа знатного, невежду при звезде» («Чаадаеву», 1821). Этого своего взгляда Пушкин не изменил и впоследствии. Наоборот, в зрелые годы он еще строже судил «проклятый аристократический круг», эту «светскую чернь». Молодого Пушкина (напр., в послании к Горчакову, 1819 и к Чаадаеву, 1821) поражало холодное бездушие светского общества, пустота его речей. Позднее он выносит те же впечатления. Уже знакомый нам «путешествующий испанец» (в набросках «Гости съезжались на дачу»), не боясь оскорбить своего русского собеседника, заявил, что он посещал высшее общество всех столиц, «но нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким, как в проклятом вашем аристократическом кругу». В зале какой-нибудь княгини сидят «немые, неподвижные мумии»; «меж ними нет ни одной моральной власти, ни одно имя не натвержено мне славою», а между тем просвещенный гость Запада чувствует здесь какую-то робость или, вернее, неловкость. Русский не только не стал отрицать этого, но дал свое объяснение: это — своего рода замкнутая каста, которая недоброжелательно встречает всякого чужого человека, не только иностранца; дамы дают тон, но что представляют они собою? «Наши дамы очень поверхностно образованы, ничто европейское к тому же не занимает их мыслей. Политика и литература для них не существует. Остроумие давно в опале, как признак легкомыслия. — О чем же станут они говорить? О самих себе? Нет, они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочный, часто понятный только для немногих, для избранных».

Очной ставки с европейской культурой так называемая русская аристократия не выдерживает. Приехала в Мо-

ску мадам де-Саль. «Московские умники» сумели щегольнуть русским гостеприимством, но разговор не клеился: лишь изредка прерывали свое молчание «убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости»; только каламбур Саль пришлось им по разуму. Полине было стыдно за аристократическое общество, показавшее себя столь ничтожным в глазах женщины, которая «привыкла к увлекательному разговору высшей образованности»: «тупые лица, тупая важность и только», это — «обезьяны просвещения», «светская чернь» («Рославлев», 1831). Последнее выражение подвернется Пушкину и в «Евгении Онегине» («Кто черни светской не чуждался» — гл. VIII, строфа X). Того же социального происхождения и «чернь тупая», предъявляющая поэту свои морально-утилитарные требования.

В массе своей старое дворянство, как мы знаем, уступило свое место новой знати и образовало род среднего сословия. Но меньшинство все-таки осталось в составе «высшего общества». Эти вельможи — другого культурного и психического склада.

Любовно останавливает Пушкин свой взгляд на истинных представителей старого дворянства: в них — история, в них — культура; они — действительные носители самосознания, достоинства и чести своего класса.

Сильно заинтересовала Пушкина личность князя Якова Долгорукова, который осмеливался резко спорить с Петром I и однажды разорвал его указ. Пушкин подробно пересказывает этот эпизод. В стансах 1826 г. поэт также вспоминает в назидание Николаю, как перед Петром от буйного спрейца был опличен Долгорукий.

В стихотворении 1825 г. Пушкин сравнивает с Долгоруким Н. С. Мордвинова, доблестного государственного мужа:

Сияя доблестью, и славой, и наукой,
В советах недвижим у места своего,
Стоишь ты, новый Долгорукий.

Поэтически оценивает Пушкин исторические подвиги полководцев Кутузова и Барклая-де-Толли («Перед гробницею святой», 1831); «Полководец» (1835).

«Счастливейшие минуты» своей жизни провел опальный поэт в семействе Раевских. Старый генерал, с большими военными заслугами, человек высоко просвещенный, а вокруг него — молодежь, талантливые и тонко образованные люди.

Всё это — истинные вельможи, подлинные исторические имена.

Даже кн. Н. Б. Юсупов внушает Пушкину уважение: это — большой русский барин, питомец изысканной европейской культуры. Его дворец — чудо искусства: здесь

... циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались,—

говорит поэт в стихотворении «К вельможе» (1829). Со вкусом наслаждался Юсупов цветами и плодами европейского просвещения, был в общении с блестящими умами Европы, и теперь, подобно римскому вельможе, тихо и мудро доживает свой век.

Один всё тот же ты. Сступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилища, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородно.
Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.

Юсупов пленяет поэта, как импозантная фигура прошлого и как представитель той культуры, которая легла в основу русской дворянской культуры. Герцен так же

поймет социальный генезис Юсупова, но иначе оценит его культурный вес. Юсуповы — цельные и сильные натурь, люди оригинальные, но, — скажет Герцен (в «Былом и Думах»): «иностранны дома, иностранны в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме». И для Пушкина Юсупов — не идеал, но тип бесспорная родовитость и высокая культурность.

Сознание классового достоинства, чувство дворянской чести отличают лучших представителей старого дворянства. По крайней мере, чувство чести, по мнению Пушкина, должно отличать истинного дворянина. Утверждая, что настоящего феодализма в России не было, Евг. Соловьев (Андреевич) в «Опыте философии русской литературы» полагал, что «чувство чести, борьба за право, рыцарская поэзия и рыцарское подвижничество — всё, что красило западно-европейский феодализм, осталось нам чуждо». Поскольку речь идет о чувстве чести, Пушкин не согласился бы с таким мнением. Еще в заметке 1827 г. он писал: «Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d'honneur), очень ошибаются». Уже древнее местничество, при всей его уродливости, служило тому доказательством. Конечно, Пушкин двадцатых годов видел здесь только «спесивую дворянскую оппозицию» и пока не жалеет об ее уничтожении при юном Феодоре. В тридцатых годах этот исторический факт получает у него другое освещение, потому что всё государство и трудовой народ в частности заинтересованы в том, чтобы дворянство развивало в себе «независимость, храбрость, благородство, честь вообще». Это — один из основных тезисов классовой идеологии Пушкина. Недаром старик Гринев скрепил свои наставления сыну пословицей: «Береги платье снову, а честь смолоду». Именно честь, а не почести надо любить дворянству (вспомним: «не честь, а почести любя» в стихо-

творении 1817 г. «Товарищам»). Молодой Пушкин по себе чувствовал, что человек может посвящать опчизне «души высокие порывы» лишь до тех пор, «пока сердца для чести живы» («Чаадаеву», 1818). Пушкинский, или, проще, дворянский взгляд на честь Герцен возведет в общий принцип человеческого достоинства (см. его «Несколько замечаний об историческом развитии чести»).

В записке о дворянстве 1832 г. Пушкин намечал государственные и социальные функции своего класса по таким разделам: «Дворянин-помещик. Его влияние и важность; рекрутство; права. Дворянин в службе. Дворянин в деревне... Дворянин при дворе». Дворянин при дворе и даже дворянин в службе это — столичный дворянин: «аристократия» с небольшой примесью родовитого дворянства, Остаётся ещё дворянин-помещик, дворянин в деревне: помещное дворянство, составляющее основной кадр своего класса. Жизнь в деревне на положении помещика порождает новую дифференциацию в дворянском классе. Поместное и столичное дворянство во многих отношениях антиподы. А среди помещного дворянства, в свою очередь, различаются две группы: оседлые, большею частью мелкопоместные владельцы, и помещики из отставных служилых людей, чаще всего крупноместные. На эти разновидности Пушкин также обратил свое вдумчивое внимание.

В лицейский период и в двадцатых годах мы могли констатировать у Пушкина преобладание усадебности. Жизнь в Михайловском, хотя и подневольная, укрепила эти симпатии и помогла окончательно осознать их. Знакомый нам Владимир Z*, который, по поручению Пушкина, уже высказал столько важных мыслей, коснулся и данной темы. С удовольствием покинул он столицу. «Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела», пишет он своему столичному другу и развивает следующие идеи: «Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да двадцатилетнему камерюнкеру. Петербург прихожая, Москва девичья — деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости

проходит через переднюю, редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в кабинете. Тем и я кончу — выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши». Самостоятельное ведение помещиком деревенского хозяйства будет полезно для крестьян и предохранит его самого от возможного разорения, что в конце концов будет содействовать поддержанию государственного престижа дворянского класса.

Итак, дана новая выразительная формула: «Петербург — прихожая, Москва — девичья, деревня же — наш кабинет». В деревне — родная стихия дворянина.

Правда, «мелкопоместные дворяне», которые «не служат и сами занимаются управлением своих деревушек», поразили Владимира некультурностью: «Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина, между ними процветают Простаковы и Скопинины». Эта характеристика однако, относится не ко всем, и Владимир прекрасно чувствует себя в патриархальной обстановке деревни, «В самом деле», — пишет он другу, — «с тех пор, как я в деревне, я спал отменно благосклонен и снисходителен».

С многочисленными карпинами деревенской жизни помещичьего дворянства, в ее противоположности столичной жизни, мы встретимся в художественных произведениях Пушкина.

VI

Уделив преимущественное внимание дворянскому классу Пушкин лишь бегло касается других классов и то главным образом в их отношении к классу дворянскому.

Дворянству соотносительно крестьянство. Крестьяне находятся на попечении помещика. Тут дело простое и ясное. От Владимира Z* мы слышали теорию о хорошем помещике: «Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более мы имеем над ними

прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении». Пушкин не думает, что этот социальный порядок должен сохраниться навеки, но пока он является наилучшим. «Избави меня, боже, быть поборником и проповедником рабства», — пишет Пушкин в «Мыслях на дороге» (1833—1835)¹, — «я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользой помещиков; и это очевидно для всякого. Злоупотребления встречаются везде. Конечно, должны еще произойти великие² перемены; но не должно поропить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Следовательно, во-первых, не нужно преувеличивать темных сторон в положении русского крестьянства (обобщать «злоупотребления»). В этом смысле построены возражения Пушкина Радищеву (в частности коснулся Пушкин роли помещика в деле рекрутского набора, что, судя и по записке о дворянстве 1832 г., сильно его интересовало). Положение крепостных в России не хуже положения рабочих в Англии. Во всяком случае, «судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения».

Социальный вопрос, — и это вторая идея Пушкина, — разрешится эволюционно. Бунты делу не помогут. «Бунт и революция мне никогда не нравились», — писал Пушкин Вяземскому 10 июля 1826 г. Проблема бунта усиленно разрабатывается им в тридцатых годах и всегда в смысле осуждения революционных действий и предпочтения мирной эволюции. Бунтующая «чернь» — ненавистна Пушкину,

¹ В 1830 г. Пушкин радовался, что готовится проект о «новых правах» для крепостных (письмо к Вяземскому от 16 марта 1830 г.). В дневнике под 17 марта 1834 г., сказавши, что балов и праздников, дворянских и купеческих, готовится на полмиллиона, Пушкин спрашивает: «что скажет народ, умирающий с голода?» Небезынтересно, что в стихотворении «Когда великое свершалось торжество» (1836), поэт с негодованием говорит о пренебрежении к «простому народу».

² С. А. Венгеров печатает: «мелкие» перемены.

всё равно, идет ли речь об европейских революциях (1789 г. и 1830 г.) или о русских восстаниях. Крестьянские бунты, в частности, большею частью являются результатом поспоронней агитации и к цели своей не приводят. По-ученому занялся Пушкин историей пугачевского бунта, в котором так остро столкнулись классовые интересы крестьянства и дворянства: истребление дворян было лозунгом движения, как определенно сказано в «Капитанской дочке». В одном из примечаний к своей «Истории» Пушкин констатирует: «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны». Но пугачевский бунт, в понимании Пушкина, все же лишь «мятеж, начатый горстью непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства». К «страшному бунтовщику» примкнула «ослепленная чернь» и даже просто «сброд», «сволочь». Народ опомнился и хранит в своей памяти «кровавую пору, которую так выразительно прозвал он пугачевщиною»¹. Подобным характером отличался и новгородский бунт 1831 г., который усмирался самим царем (Письма, II, 296 стр. и зап. книжка 1831 г.). Но вообще говоря, Пушкин не считал «наш добрый, простой народ» (выражение Полины в «Рославлеве») способным на революционные акты.

От наблюдательности Пушкина не ускользнул рост русского капитализма, значит, русской буржуазии и ее порою успешная борьба с дворянским классом.

Всем памятна картина барской Москвы, набросанная Пушкиным в «Мыслях на дороге» (1833—1835). Грибоедовская

¹ Ср. книгу Н. Чужака Правда о Пугачеве (М., 1926), особенно стр. 56—65 («Два Пушкина»). Автор находит у Пушкина, главным образом в примечаниях к «Истории», «немногие правдивые строчки о пугачевщине и Пугачеве» (57).

Москва стала уже «печальным анахронизмом». «Обеднение Москвы» доказывает «обеднение русского дворянства». «Но Москва, утративши свой блеск аристократический», заключает Пушкин, «процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством». Осенью 1831 г. в Москву приехал государь, и Пушкин беспокоится (в письме к П. В. Нащокину): «Что-то Москва? Как вы приняли государя, и кто возьмется оправдать старинное московское хлебосольство? Бояре перевелись. Денег нет; нам не до праздников». Однако Москва не уронила своей чести. 8 декабря 1831 г. Пушкин сообщает жене, что Москва «еще не отдохнула от балов» по случаю пребывания двора. На балы денег, значит, хватало¹. Но, конечно, главным обладателем капитала было уже купечество. Не в одном Нижнем, на Макарьевской ярмарке, мог бы Онегин заметить «меркантильный дух».

Купечество становится опасным соперником дворянства, и это явление озабочивает Пушкина. В беседе с Михаилом Павловичем (дневник 1834 г.) он высказался за полезность установления для купцов звания попомственного почетного гражданина и против легкой возможности получать звание дворянина. Из этого редко выходит что-нибудь путное. *Parvenus* только снижают дворянский класс. Антон Пафнутович Спицын в «Дубровском», один из поместных дворян, может служить таким примером. Дома живет «свинья-свиньей», мужиков обдирает, копит деньги. Нет у него ни чести, ни совести. Это он, в угоду Троекурову, ложно показал, что Дубровские владеют Кистеневкой без всякого на то права. Перед Троекуровым он держится раболепно, а потом считает его «трусом и мужиком». Грехи всех *parvenus* искупает, однако, любимец Пушкина, Владимир Z*, герой неоконченного «Ро-

¹ В дневнике под 5 декабря 1834 г. читаем: «Москва, хотя уже не то, что прежде, но все-таки имеет еще похоти боярские, *des vellétés d'aristocratie*».

мана в письмах» (1829—1830). Он — гвардеец, значится в числе столичных «аристократов», считается «человеком светским», а между тем только «внук бородастого миллионщика». Владимир — умный и образованный представитель новой аристократии, и автор доверяет ему защиту даже «исторических родов» дворянства.

В дворяне могли выходить и разночинцы. Пушкин отметил этот факт («В одной газете», 1830, в заметках о «Борисе Годунове», 1831). Разночинец, будущий преемник дворянской интеллигенции, несколько раз появляется на страницах Пушкина, но систематических суждений о нем, как о классовой группе, поэт не высказывал, если не считать такого полусушительного замечания (в «Дубровском»), что разночинец, как и иностранец, на почтовом тракте голоса не имеет. В дальнейшем, однако, мы услышим от Пушкина оценку писателя-разночинца.

Прочие классовые группы оставались за пределами пушкинской идеологии тридцатых годов.

В общем классовая структура тогдашней России представлялась Пушкину в виде следующей схемы: дворянский класс, распадающийся на «аристократию» (новое дворянство по преимуществу) и среднее дворянство (старое, родовитое), на столичное и помещичье дворянство; духовенство, купечество, разночинцы, «народ», т. е. ремесленники в городе и крестьянство в деревне. Каждый класс выполняет в государстве свои функции. Высшие функции возложены на высший класс — на дворянство. В интересах страны и народа за дворянством должны быть сохранены его преимущественные права. Кастовости дворянского класса Пушкин, в конце концов, не защищает. Правда, он предпочитает, чтобы звание дворянина было наследственным; допускает, чтобы в особых случаях оно жаловалось волею государя; сомневается в пользе широкого доступа в дворянское сословие всем и каждому, но мирится с этим.

Пушкин хотел бы избежать междуклассовой вражды. «У нас в России», — писал он с чувством удовлетворения

(заметка 1830 г. «С некоторых пор журналисты наши»), — «государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство в особенности, кажется, ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские, легко выводят в оное людей прочих званий». Во всяком случае Пушкин не хотел бы видеть той «подлости», которая характеризует в Англии взаимное отношение классов. Там, — сообщает его «англичанин» («Разговор с англичанином»), — нижняя палата раболепствует перед верхней, джентельмен перед аристократией, купечество перед джентельменством, бедность перед богатством. А в России крепостной крестьянин свободно держится по отношению к барину: по наблюдениям англичанина, нет «и тени рабского унижения в его поступки и речи». Пушкин всюду остается непримиримым врагом рабства и холопства.

Есть принцип, который в глазах Пушкина стоит выше всякого сословно-классового принципа: это — личное достоинство человека. «Достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения», — говорит русский собеседник путешествующего испанца, alter ego Пушкина («Гости съезжались на дачу», 1832). «Конечно», — рассуждает сам Пушкин («В одной газете», 1830), — «есть достоинства выше знатности рода, именно: достоинство личное... Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, можешь быть, все наши старинные родословные». Слова эти опять в буквальном виде повторяет Владимир З*.

Значит, есть люди, которые сами собою начинают знаменитый род, и «неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами»? «Гордится славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — читаем в заметке, которую относят еще к 1827 г. «Государственное правило», — говорит Карамзин, — «ставит уважение к предкам в достоинство

гражданину образованному». Пушкин того же мнения. «Бескорыстная мысль, что внука будут уважать за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» В конце концов дело — не в принадлежности человека к тому или другому классу, а в историческом весе его рода и в его личном достоинстве.

Наблюдая московскую жизнь тридцатых годов, упрямившую «свой блеск аристократический», Пушкин ясно понимал, что «упадок Москвы» обуславливается «обеднением русского дворянства». Повидимому, такое заключение должно было бы повергнуть его в элегическое настроение, но поэт недаром привык мыслить исторически (может быть, позволительно сказать — диалектически). Дворянская аристократия в упадке, зато Москва, — бодро заявляет он, — «процветает в других отношениях»: оживилась промышленность (вместе с ростом купечества) и развивается просвещение, — чему содействует среднее дворянство и русские писатели вообще (приводится ряд показательных фактов из области науки, философии, литературы). Культурный прогресс важнее всего.

VII

Всё изложенное в предыдущих главах служит социологическими предпосылками для классового самоопределения Пушкина в тридцатых годах. Проблема самоопределения более всего занимала и волновала Пушкина в первые годы этого десятилетия.

Еще с 1821 г. стал он пристально заниматься своей автобиографией. В 1830 г. он уже набрасывает ее, начиная с родословной Пушкиных и Ганнибалов. Пушкин мог говорить о своей родovitости: «имя предков моих встречается поминутно в нашей истории»¹. В разговоре с великим

¹ В заметке «В одной газете» (1830) Пушкин повторил свою родословную и опять сказал: «Вообще имя моих предков встречается почти на каждой странице нашей истории» (как и имя собеседника в отрывке «Гости съезжались»).

князем Михаилом Павловичем он мог фамильярно заметить, что Пушкины не уступят в знатности самим Романовым. («Nous, qui sommes aussi bons gentilhommes que l'Empereur et Vous» — дневник под 22 дек. 1834 г.). Но, как это случилось с большею частью старого дворянства, род Пушкиных стал приходиться в упадок. — «Ныне», — писал Пушкин в 1830 г. («В одной газете»), — «огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок: последние их родовые имения скоро исчезнут; но имя останется честным, единственным достоянием темных потомков некогда знатного боярского рода». Теперь Пушкины принадлежат не к «аристократии», не к знати, а к среднему дворянству, к тем, кто составлял, по выражению Пушкина, род среднего состояния, *fiers état*, «мещанство». Поэт ничего не имеет против такого наименования, которым его хотел уколоть Булгарин. «В одной газете, почти официальной», пишет Пушкин, «сказано было, что я — мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать: дворянин во мещанстве». В чеканно-лапидарных стихах, с большим достоинством и с тонкой иронией дал Пушкин анализ своей родословной («Моя родословная или русский мещанин», 1830).

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей.
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов униженных обломок,
И слава богу не один,—
Бояр старинных я потомок
Я мещанин! Я мещанин!

.....
Под гербовой моей печатью
Я свиток грамот сохранил,
И, не являясь с новой знатью,
Я крови спесь уgomнил.
Я неизвестный стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я сам большой, не царедворец:
Я грамотей, я мещанин.

Тот же ряд мыслей развивает Пушкин в «Родословной моего героя» (1833). Он — «мещанин» «и в этом смысле демократ». Но спарина и ее достоинство дороги ему.

Мне жаль, что нашей славы звуки
Уж нам чужды; что спросна
Из бар мы лезем в tiers état;
Что нам не в прок пошла науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.
Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух;
Что их поносит и Фиглярин;
Что русский вепренный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей;
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел

Род Пушкиных — «один из самых старинных дворянских наших родов», и поэт, в силу своей теории, не считает зазорным гордиться предками. Напрасно видят в этом простое подражание Байрону и проявление «дворянской спеси». «Я русский дворянин и я знал своих предков прежде, чем узнал Байрона», — твердо заявляет Пушкин. «Если быть старинным дворянином значит подражать английскому поэту, то сие подражание весьма невольное». Кроме того, Пушкин просит обратить внимание на существенную разницу: английский лорд привязан «к своим феодальным преимуществам»¹, а он, Пушкин, проявляет лишь «беско-

¹ В очерке «Лорд Байрон» (1835) Пушкин писал следующее: «Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более, нежели своими творениями. Чувство весьма понятное. Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта; напротив того, слава, им самим приобретенная, принесла ему мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного Байрона»

рыбистное уважение к мертвым предкам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства», ибо теперь в силе аристократия иного рода¹. Он гордится своим родом так же, как Суворов, который «не презирал своим дворянским происхождением» и писал свою родословную².

В Пушкине явно сказались типичная психология представителя родовитого, но униженного дворянства. Неприязненно настроен он по отношению к новой аристократии и к бюрократии, ревниво оберегая свою честь, которая является не только его личной честью, но честью его рода и даже отечества (ибо история его дома есть история опечетства). Он — в постоянной оппозиции или, по крайней мере, настороже. То, что говорил Пушкин в беседе с Михаилом Павловичем о декабристах, применимо к его собственной психологии: старинное и просвещенное, но обедневшее дворянство не может не питать «ненависти противу аристократии», против новой, чиновной знати. Последняя, конечно, платит поэту еще большей ненавистью. Трагическая дуэль бросает свет на социальную драму поэта. Лермонтов хорошо понимал своего собрата, поэта с «гордой головой», который погиб, как «невольник чести». Как будто повторяя общую мысль Пушкина и его формулу «родов униженных обломков», Лермонтов бичует «надменных потомков известной подлостью прославленных опцов», которые «пятою рабскою» попрали «обломки игрою счастья обиженных родов».

Мы уже видели, что молодой Пушкин предпочитал держаться в стороне от большого света³ (хотя и не

¹ Ср. аналогичные мысли в заметках о «Борисе Годунове» по поводу того, что он вывел здесь одного из своих предков.

² В разборе сочинений Георгия Канинского (1835) Пушкин не преминул отметить, что архиепископ белорусский «происходил от старинного шляхетского рода, и эпитим вовсе не пренебрегал», как видно из эпитафии, сочиненной им самим.

³ Интересно сравнить это с той неприязнью, какую К. С. Аксаков питал к «студентам-аристократам». См. его «Воспоминания студентства» (1832—1835 годов). Спб. 1911, стр. 37—38.

всегда мог устоять перед его соблазнами). Когда судьба столкнула его на служебном поприще с гр. М. С. Воронцовым, корректным джентельменом, но холодным и надменным бюрократом, желавшим к тому же «спасти нравственность поэта», тот стал в оппозицию как к самому вельможе, так и к одесским аристократам, которые жили по камертону Воронцова. Дело кончилось полным разрывом. «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист», — писал Пушкин А. И. Тургеневу 14 июля 1824 г.: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое... Брошу службу, займусь рифмой». Пушкину дороги его дворянская честь, личная независимость и достоинство писателя. В сношениях с Бенкендорфом он апеллирует к «чести дворянина» (Письма, II, 73). Но независимость прежде всего. В 1831 г. Пушкин рвется из Москвы в Петербург, чтобы там жить «en bourgeois» «мещанином, припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна» (в письмах к Плещеву). Надежды не оправдались. «Обласканный» Николаем и приближенный ко двору, Пушкин на каждом шагу испытывал нравственные оскорбления, унижения чести и уколы самолюбия. Сколькo огорчений доставило ему одно камерюнкерство, — ему, который еще недавно («Моя родословная», 1830) мог с гордостью говорить: «я — сам большой, не царедворец». Многочисленные следы этого имеются в его письмах (напр., III, 84, 98, 101, 108, 122, 125) и в дневнике (1834, янв. 1, 17, 26; дек. 5). «Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно», жалуется Пушкин жене 8 июня 1834 г.: «Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шупом ниже у господ бога»¹. Наталья Николаевна захлебывалась от счастья, что она блистает при дворе, и хлопотала «о помещении сестер во дворец». А Пушкин отговаривает ее: «Мой совет тебе и сестрам — быть подале от двора: в нем толку мало» (письмо от 11 июня 1834 г.). И тут же у Пушкина вырви-

¹ Ср. в дневнике под 10 мая 1834 г.: «Но я могу быть поданным, даже рабом, — но холопом и шупом не буду и у царя небесного».

вается характерное восклицание: «Боже мой! Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жыл бы себе барином. Но вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: hier madame une telle était décidément la plus belle et la mieux mise du bal». Несколько ранее, также в письме к жене (18 мая 1834 г.), поэт выражал горячее желание «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да ударить в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно, когда лет 20 человек был независим».

«Счастье независимости» ассоциируется в сознании Пушкина прежде всего с жизнью в деревне на положении вольного (не служащего) помещика. Пусть неприязнательная простота деревенской усадьбы, «щей горшок», да, по крайней мере, «сам большой» (XVI строфа «Странствия Онегина», 1829—1830).

Пушкин не отказывался быть помещиком. Хотя бы по письмам можно проследить, как порою деловито рассуждает он о хозяйственных вопросах (напр., I, 182—183; III, 111—112, 199, 330—331, 366—367, 399—400, 469), как разбирает челобитья мужиков (Письма, III, 164—165), как закладывает крепостные души (Письма, II, 223), и как иной раз по-барски претрирует «хамов» и «холопов» (Письма, I, 382; II, 351, 355, 397). Пушкин не отрекался от прав, предоставленных помещику законом, но, конечно, не злоупотреблял своими правами. Более того, считать его заправским помещиком, который с деревенским хозяйством связывает свои главные интересы, было бы невероятной натяжкой. Пушкин не прочь подтрунить над своей ролью помещика, когда он уже юридически стал таковым: ¹ пришли мужики с челобитвем, надо «хитрить»; они, наверное, перехитрят, «хо-

¹ Т. е. с 1830 г. До этого Пушкин имел основание говорить: «А у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями» (в письме от 27 марта 1825 г.); «я богат через мою торговлю стишистую, а не праведскими вотчинами, находящимися в руках Сергея Львовича» (в письме от мая — июня 1828 года).

тя я сделался ужасным политиком, с тех пор как читаю «*Conquête de l'Angleterre par les Normands*» (письмо к жене от 15 сентября 1834 г.). В 1836 г. Пушкин мечтал о том, чтобы оставить себе только усадьбу с садом да дюжину дворовых¹.

Как и прежде, деревня прельщает Пушкина в другом отношении. «Ах, мой милый», пишет он П. А. Плещеву 9 сент. 1830 из Болдина: «что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездят верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает». Хорошо бы всегда работать так, как писался, например, «Борис Годунов». «Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света², плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия сия», вспоминал Пушкин, — «доставила мне всё, чем писателю насладиться дозволено».

Оброк мужиков был нужен Пушкину, чтобы чувствовать себя независимым и свободно творить. Герцен понимал это.

Характерным рефлексом классовое самоопределение Пушкина отразилось в его самосознании, как писателя.

VIII

«Старинное дворянство... ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного; состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов». Так говорит от имени Пушкина Б. в диалоге 1830 г. («Разговор»)³.

Дело ясное: большая часть русской интеллигенции и, следовательно, русских писателей тридцатых годов выхо-

¹ «Письма Пушкина и к Пушкину», ред. М. Цявловского, М. 1925, стр. 40.— Ср. П. Щеголев «Пушкин и мужики» (М. 1928).

² Разрядка моя.

³ В заметке «Новые выходы против п. н. литературной нашей аристократии» (1830) Пушкин писал: «...если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное».

дила из среднего дворянства, старинного, но обедневшего. Значит, меньшая часть составлялась другими классами, особенно так называемыми разночинцами. Здесь, как и во других случаях, Пушкин точно определил общественный факт.

Господствующим классом было дворянство, культура носила дворянский отпечаток, и главная масса писателей принадлежала дворянству, именно среднему дворянству. Самого себя Пушкин, естественно, причисляет к этой преобладающей группе¹.

Та экономическая ситуация, в которой находилось среднее (обедневшее) дворянство, существенным образом отражалась на положении писателя-дворянина. Пушкин отдает себе в этом полный отчет.

Было время, когда, по выражению *м-те де-Стааль*, в России литературой занимались лишь несколько дворян (*en Russie quelques gentilhommes se sont occupés de littérature*)². Материально вполне обеспеченные, они «упражнялись» в литературном труде из любви к искусству, между делом; о литературном заработке не могло быть и речи. Литература рассматривалась тогда, — писал Пушкин барону Баранту 16 дек. 1836 г. (Письма, собранные М. А. Цявловским), — «только как занятие изящное и аристократическое... Никто не думал извлекать других плодов из своих произведений, кроме успеха в обществе». Писатели-недворяне рассчитывали на милость высокопоставленных меценатов. Таков был порядок вещей. Теперь он отошел в прошлое.

И. И. Дмитриев подсмеивался над пушкинским поколением писателей. Отвечая ему, Пушкин между прочим писал 14 февр. 1835 г.: «Что касается до выгод денежных,

¹ Любопытно, что некоторых своих героев, даже небольшого калибра (Чарского, Гринева, Белкина), Пушкин наделяет влечением к писательству.

² Сказано в 1811 г., в книге «*Dix ans d'exil*». Пушкин цитирует эти слова в «Мыслях на дороге» (1833—1835) в главе о Ломоносове, и в письме к Баранту от 1836 г.

по позволѣте заметить, что Карамзин первый у нас показал пример больших оборотов в торговле литературной». Та же мысль в развитом виде была изложена еще в записке 1831 г. (по поводу издания газеты): «Десять лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности; читателей было еще мало... Человек, имевший важное влияние на русское просвещение, посвятивший жизнь единственно на ученые труды, Карамзин первый показал опыт торговых оборотов в литературе». Но литературная собственность еще не была защищена законом. Это произошло лишь при императоре Николае I. Цензурный устав 1828 г. содержал приложение о правах сочинителей; окончательная редакция права литературной собственности дана в законе 1830 г. Закону этому Пушкин присваивает огромное значение: «Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. торговое (разрядка автора). Ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законом».

Пушкину с самого начала пришлось решать материальную проблему писателя. И в неизмеримо большей степени, чем, например, князю Вяземскому, которого по этому случаю поэт шутливо именуется аристократом (например, в письме от 19 августа 1823 года)¹. Сначала ему нужно было пересиливать в себе классовые предрассудки². И он достиг этого. В июне 1824 г. Пушкин говорил

¹ Для полноты картины полезно было бы параллельно изучить также вопрос о классовом самосознании Вяземского.

² В первой половине двадцатых годов Пушкин еще держится того мнения, что, в противоположность западным собратьям, русские литераторы пишут не из-за денег. Он писал, напр., Рылееву (во второй половине июня 1825 г.): «Не должно русских писателей судить как иностранцев. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из шщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожил на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего, так служи да не сочиняй». Денди Чарский («Египетские ночи», 1835), не желающий, чтобы его принимали за поэта, не имеет нужды в литературном заработке.

А. И. Казначееву: «Я уже победил свое отвращение писать и продавать стихи, чтобы жить; самый большой шаг сделан; если я еще пишу только под капризным влиянием вдохновения, то на стихи, раз написанные, я уже смотрю только как на товар (сomme une marchandise)... по столько-то кусок». В конце 1822 или в начале 1823 г. он пишет князю П. А. Вяземскому, что смотрит на поэзию, «с позволения сказать, как на ремесло... Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне — на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом». В мае 1824 г. он уверяет А. И. Казначеева: «Ради бога не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость». И Пушкин открыто, с подчеркиванием даже, торгует своим товаром. В письме от 21 сентября 1821 г. он предлагает Н. И. Гречу «Кавказского пленника» в следующих выражениях: «Хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? Длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы — разрезано на две части; дешево отдам, чтобы товар не залежался». А в письме к Вяземскому от июля 1825 г. выразился: «стихами торгую en gros, а свою мелочную лавку, № 1, запираю». Свое стремление покинуть юг Пушкин между прочим мотивировал тем, что в Москве и Петербурге, где находятся журналы, цензоры и книгопродавцы, ему удобнее вести «книжный торг» (письмо А. И. Казначееву от 25 мая 1824 г.). Еще до издания закона о литературной собственности Пушкин энергично защищал свои права (эпизоды с Ольдекопом и письма к Бенкендорфу от 1827 г.; о том же вспоминает он в записке 1831 г. по поводу издания газеты). Когда укоряли Пушкина дорогой ценой «Евгения Онегина», он оправдывал книгопродавцев и себя ссылкой на условия книжного рынка и прибавлял: «Эти торговые обороты нам, мещанам-писателям, очень известны». Литературный труд, а не что-нибудь другое, дает ему средства к существованию

и возможную независимость. Сочинения «составляют одно мое имущество», не преувеличивая дела, писал Пушкин Бенкендорфу в августе 1828 г. Когда Муханов без спроса «распустил по свету» начало «Цыган», Пушкин воскликнул: «Варвар! ведь это кровь моя, ведь это деньги!» (письмо к Вяземскому от 19 февраля 1825 г.). «Деньги, деньги: вот главное», — напоминает он Плещневу в письме от 13 января 1831 г. Занятый печатанием «Истории пугачевского бунта», Пушкин, по его выражению, делал деньги и пояснял жене (письмо от июля 1834 г.): «Я деньги мало люблю; но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости».

После этого становится понятным небольшой эпизод в «Египетских ночах». Итальянский импровизатор «обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опрокинул Чарскому». «Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты». К этому нужно только прибавить, что сам Пушкин придавал финансовой стороне писательского ремесла неизмеримо большее значение, чем его Чарский.

Как подлинный реалист, Пушкин принял факт и сделал из него логические выводы. Произведения его шли хорошо, и временами он испытывал полное удовлетворение. 8 марта 1824 г. он пишет кн. Вяземскому: «Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого... Уплачу долги и засяду за новую работу. Благо я не принадлежу к нашим писателям XVIII века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ни чуть для улыбки прекрасного пола». «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — нашел аналогичную формулу благородный книгопродавец в диалоге того же 1824 г. «Разговор книгопродавца с поэтом». Поэт диалога — человек еще с прежней психологией¹: он помнит время по, когда «писал

¹ Местами не без намека на кн. Шаликова, «поэта прекрасного пола», — как признается сам Пушкин в письме к Вяземскому от 19 февр. 1825 г.

из вдохновенья, не из платы», и когда «музы сладостных даров не унижал постыдным торгом». Книгопродавец спокойно указал ему на действительность: «Наш век — торгаш; в сей век железный без денег и свободы нет». Поэт согласился с его доводами и спал продавать свою рукопись. Проблема, повидимому, решена. Но в психологии поэта, разговаривающего с книгопродавцем, было нечто дорогое Пушкину, что от времени до времени продолжало напоминать о себе. Через десять лет после «Разговора» Пушкин в апреле 1834 г. жалуется Погодину: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег: охота являться перед публикою, которая вас не понимает... Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так». Тяжело писать, когда публика и журналисты не понимают тебя, а писать надо — для денег. Кроме того, есть у Пушкина и более тонкий, более интимный мотив: вдохновенное творчество и срочная работа на рынок — трудно совместимы между собой. Пушкин и ищет возможности обеспечить себе досуг, необходимый для свободного творчества: частью это могли быть доходы с имения, а главным образом издание журнала. 21 сентября 1835 г. Пушкин делится с женой грустными мыслями: «Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу». Права на издание периодического органа Пушкин добивался давно, потому что, как сказано в записке 1831 г., «изо всех родов литературы, периодические издания более приносят выгоды», особенно те, в которых есть политический отдел. Издатели «Северной Пчелы» стали монополистами литературной торговли. Пушкин хлопотет о политическом отделе для «Литературной газеты», издаваемой Дельвигом и им. Известно, что неоднократные попытки Пушкина наладить собственный журнал кончались неудачей. Лишь незадолго до смерти он смог издавать свой «Современник», «наподобие английских трехмесячных Reviews». Испрашивая на него разрешение, Пушкин писал Бенкендорфу 31 декабря

1835 г.: «Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые». На путь журнализма поэта толкали прежде всего экономические мотивы¹.

Второй вопрос, также вытекавший из социального положения Пушкина и его писательской группы, касался общественного веса писателя, в частности так называемого *меценатства*. Это — вопрос нравственного порядка.

Принципиально говоря, класс писателей — огромная социальная сила, «самая мощная» и, с известной точки зрения, «самая опасная» аристократия. «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять пропиву всеразрушительного действия типографского снаряда» («Мысли на дороге», 1833—1835). Подходя к русским писателям с самой скромной меркой, всё же нельзя не видеть, что класс писателей — «класс важный у нас, ибо, по крайней мере, составлен из грамотных людей» (в записке 1831 г. об издании газеты).

В действительности, однако, такой взгляд далеко не был общим достоянием. Писатели-аристократы, которых характеризовала *т-те де-Сталь*, не считали себя да и не были профессиональными литераторами: их общественный вес определялся другими признаками. Неаристократы и особенно «мелкоправчатые» писатели (этот термин был в ходу в XVIII в.) искали покровительства высокопоставленных людей, меценатов. Еще во второй половине XVIII в. писатели (Лукин, Павел Львов, Михаил

¹ Любопытно, что тема «Словесность и торговля» будет дебатироваться и позднее (по поводу издательской деятельности Смирдина) при участии Шевырева и Белинского. Ср. в статье Скабичевского «Сорок лет русской критики» (Сочинения, т. I, стр. 375—378) и в книге Т. Грица, В. Тренина, М. Никитина «Словесность и коммерция» (книжная лавка А. Ф. Смирдина). М. 1928.

Попов и др.) задумывались над ненормальностью такого положения вещей. Но во всей своей определенности и остроте вопрос мог возникнуть лишь в дворянской группе писателей, т. е. в той социальной среде, к которой принадлежали Пушкин и его литературные друзья. Гордое сознание своей родовитости, неприязнь к «аристократии» в специфическом смысле, развитые чувства чести и независимости преобладали окончательной ликвидации того положения, которым тяготелись уже некоторые писатели XVIII в.

Во времена Пушкина, как верно заметил В. И. Сафонович (Р. Арх., 1903, I, 493), в высшем кругу, принимая поэтов и известных артистов, «не столько им желают угождать, сколько пребывают от них угождения». Пушкин больно почувствовал это во время своего столкновения с Воронцовым. А. И. Казначеев (правитель канцелярии) по-чиновничьи советовал Пушкину не пренебрегать покровительством сильного человека, а тот отвечал, что он уже устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения такого-то и такого-то шефа, что более всего дорожит независимостью (*l'indépendance*) и не рассчитывает на покровительство Воронцова. «Я не знаю ничего, что более унижало бы, чем покровительство (*le patronage*)», — говорит поэт (в письме от июня 1824 г.): «я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унижаться перед ним. Затем у меня есть демократические предубеждения, которые стоят предубеждений аристократии». Под впечатлением того же эпизода Пушкин пишет Вяземскому (в июне 1824 г.): «На Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он, а меценатство вышло из моды — никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи. Это обвещало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима». Через год, по поводу критического обзора А. А. Бестужева (в «Полярной Звезде»), где также затронута проблема меценатства, поэт в энергичных выражениях развивал те же мысли (в мае — июне 1825 г.): «Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность,

уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит она на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лестии... Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием: мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою — а пот является с требованием на уважение, как шестисоплестный дворянин — дьявольская разница». Трудно выразиться определеннее. Ссылка на шестисоплестнее дворянство не понравилась Рылееву, и Пушкин счел нужным пояснить (в письме от второй половины июня 1825 г.): «Ты сердисься за то, что я хвалю шестисоплестным дворянством (NB мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе — гордость etc.»¹. Та же мысль буквально повторена Пушкиным в «Мыслях на дороге» (1833—1835), в главе о Ломоносове.

Даже писателю-дворянину нужно было завоевывать себе уважение в светском обществе. Самолюбивому человеку удобнее было появляться в гостиных не в качестве сочинителя, а в качестве дворянина. С этим ощущением хорошо был знаком и сам Пушкин, особенно в более молодые годы. Эту психологию воплотил он в Чарском («Египетские ночи», 1835), который раздраженно говорил импровизатору: «Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их по-

¹ В данном случае эту гордость Пушкин связывал также с материальной обеспеченностью русских писателей, которые-де пишут не для денег, а из тщеславия. Впрочем, для себя и тут он сделал исключение.— К слову сказать, Рылеев все-таки остался при своем убеждении (Письма Пушкина, I, 298—299).

бери!) этого не знают, тем хуже для них». И, конечно, неспроста Чарский задает импровизатору тему: «поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением». Именно на этой почве автору «Черни» и «Памятника» пришлось всю жизнь вести тяжбу с светскими профанами.

Легче всего было заявить «гордость» писателям-дворянам, но вопрос в глазах Пушкина получает общее значение, будучи связан с основной проблемой о достоинстве литературы¹. Пушкин был того мнения, что даже в век меценатства и лести такие писатели, как Ломоносов или Державин, умели говорить языком, исполненным достоинства (см. очерк о Ломоносове в «Мыслях на дороге», 1833—1835 г., и характеристику Державина в цитированном выше письме 1825 г. к Беспужеву). Тем более подобает держаться этого тона теперь. Дело не в одном принципе патронажа, а в нравственной атмосфере литературной среды, в чистоте литературных нравов. В эпоху, когда царил Булгарин, Пушкин придавал этому вопросу исключительную важность. Литераторы подличают и перед публикой и перед влиятельными писателями. «...С некоторых пор»,— говорит Пушкин в «Мыслях на дороге» (1833—1835),— «литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его превосходительство такой-то». Это, с одной стороны. А с другой (*ibidem*): «Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремячинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги, или хвалебным объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писак, готовый на всякую частную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете».

¹ Этой проблемы касается Пушкин также в заметке о русской литературе с очерком французской (1834), упрекая французских писателей в отсутствии чувства независимости и личного достоинства.

Нетрудно догадаться, против кого направлены приведенные слова. Конфликт поэта с болгаринской группой выявил третий момент в классовом самоопределении Пушкина, как писателя.

Естественно, что у Пушкина был свой литературный круг. Не говоря о спариках, как Карамзин, Дмитриев, Жуковский, сюда в разное время входили: князь Вяземский, барон Дельвиг, князь Одоевский, Гнедич, Капенин, Боратынский, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, И. Киреевский, Плетнев и Гоголь. Погодин и Шевырев некоторое время были также близки к Пушкину. Но это не помешало Погодину писать Шевыреву по поводу издания «Европейца» Киреевским: «все аристократы у него», разумея тут Пушкина, Жуковского, Одоевского, Вяземского, Боратынского, А. И. Тургенева, Хомякова и Языкова. В Погодине сказалось самосознание разночинца, который чувствовал себя по другую сторону классовой черты. Когда разгорелась полемика¹, Булгарин, Греч, Полевой заговорили о «литературной аристократии» и тем подчеркивали существование демократической группы писателей. «В прямом или переносном смысле, все-таки они демократические журналы» («Разговор», 1830), — сказал и сам Пушкин².

Весь этот эпизод в социологическом отношении чрезвычайно интересен. Я возьму из него то, что важно для моих целей.

В двадцатых годах Пушкин и его ближайшие друзья (напр. Вяземский) не чуждались общения с Гречем, Булгариным, тем более с Полевым. В полемике с Каченовским

¹ Ср. обстоятельную статью А. Г. Фомина «Пушкин и журнальный триумvirат 30-х годов» в V т. «Пушкина», под редакцией С. А. Венгерова. См. также статью В. Фишера «Пушкин и журнальная полемика его времени» в сборнике историко-филологического факультета Петербургского университета (СПб, 1900).

² Кроме названных писателей, и Нестор Кукольник причислял Пушкина к аристократам и между прочим «находил его ученость слишком поверхностною, слишком аристократическою» (его дневник в «Баяне», 1833, № 11, стр. 98). На стороне «демократов» был еще М. А. Бестужев-Рюмин.

Пушкин был на стороне Полевого («Отрывок из литературных летописей», 1829). Но Пушкин не скрывал того, что в его глазах это — люди другого литературного круга. Не раз он предлагал своим друзьям сплотиться в оборонительный союз не только против цензуры (Письма, I, 60—61), но главным образом против монополистов журналистики (Письма, I, 116, 383). Борьба эта, как мы видели, подсказывалась в значительной степени экономическими соображениями. Но были у Пушкина и мотивы иного порядка.

Во-первых, нельзя отрицать, что известную роль сыграла здесь классовая психология Пушкина. Набрасывая план для задуманного «опыта отражения некоторых не-литературных обвинений» (1830), он в одном параграфе соединяет пункты «об литературной аристократии» и «о дворянстве». Неоконченный памфлет «Литературное общество» (1829) должен был высмеять журнал «Азиатский Рак» (конечно, «Вестник Европы». В числе сотрудников значился Никодим Невеждин (т. е. Никодим Надоумко, Надеждин), «из сословия слуг, скромный молодой человек, оказавший недавно отличные успехи в словесности и, несмотря на лакейский тон своих спатеек, обещающий быть законодателем вкуса». Еще в «Отрывке из литературных летописей» (1829) иронически был отмечен «почтенный сотрудник Коченовского, г. Надоумка, «один из великих писателей, приносящих истинную честь и своему веку, и журналу, в коем они участвуют». С Надеждиным Пушкин встретился у Погодина и записал: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но с живостью, а иногда и с красноречием. В них не было мыслей, не было движенья; шутки были плоски». Своей критикой «Графа Нулина» и филиппиками против «сонмища нигилистов» Надеждин оправдывал эпот отзвв о нем. Пушкин видел в нем нечто вульгарное, vulgar, противоположное *comme il faut* (ср. в «Евгении Онегине»). Надеждин — невоспитанный

семинарист (вспомним и отзыв о семинаристе Сперанском). В «Азиатском Раке» — иронизирует Пушкин, — будут помещаться «стихи молодых семинаристов». На организационном собрании сотрудников, кроме того, «все с удовольствием слушали милые проказы маленького купчика, погда уже столь много обещавшего». Явный выпад против Полевого.

Семинаристы (как Надеждин), купчики (как Полевой) и «чиновные журналисты» (как Булгарин с Гречем) — всё это представители демократической группы. Пушкин смотрит на них сверху вниз. Демократизм их происхождения влечет за собой недостаточную культурность. Это — люди более низкой культуры, чем сам Пушкин. Здесь скрывается впрочем весьма существенный мотив, которым определяется отношение Пушкина к писателям-«демократам». Сотрудники «Литературной газеты», — писал Пушкин, — «стараятся сохранить тон хорошего общества, проповедуют сей тон и другим собратьям, но проповедуют в пустыне». Пушкин строго различал понятия хорошего и высшего общества. В заметке по поводу «Графа Нулина» есть целый трактат на эту тему. Высшее общество (high life) — светское общество; хорошее общество (bonne société) «может существовать и не в одном кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные»¹. Весьма показателен взгляд Пушкина на Полевого. Он ценит последнего и как журналиста² и

¹ Незнание «приличий» само по себе, по мнению Пушкина, еще не особенный грех. Ученому человеку, — говорит он в одной заметке, — некогда «являться в общество и приобретать навык к суетной образованности, подобно праздному жителю большого света». «Простодушная грубость» — простительна. «Педантизм имеет свою хорошую сторону. Он только тогда смешен и отвратителен, когда мелкомыслие и невежество выражаются его языком».

² 2 авг. 1825 г. он писал Полевому: «Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему журналу (конечно, лучшему из всех наших журналов). В 1834 г. вместе с Жуковским Пушкин, однако, будет радоваться закрытию «М. Телеграфа», проповедывавшего «якобинизм перед носом правительствия» (Дневник под 7 апр. 1834).

даже как автора «Истории русского народа», непрочь был печататься в его «Московском Телеграфе», но быть постоянным сотрудником отказывался, ибо, — писал он Вяземскому в июле 1825 г., — «Телеграф человек порядочный и честный — но враль и невежда; а вранье и невежество журнала делится между его издателями; в часть эту входит не намерен». Быть высокого мнения о культуре и образованности Булгарина у Пушкина не было особых оснований.

В-третьих, некультурность «демократов» выражается в низких свойствах их души. Это — хуже всего. Полевой и тут выше других. «Будем справедливы, — говорится в одной заметке 1830 г., — г-на Полевого нельзя упрекнуть в низком подбострастии пред знатными; напротив, мы готовы обвинить его в юношеской заносчивости, не уважающей ни леп, ни звания, ни славы и оскорбляющей равно память мертвых и отношения к живым». Расстояние между собой и Полевым Пушкин создал как разницу между высокой культурой и полупросвещением. А между Пушкиным и Булгариным лежало огромное расстояние, как между высокой честью и низкой подлостью. Еще в 1824 г. Пушкин отнес Фаддея Булгарина к «сволочи нашей литературы» (в письме к Л. С. Пушкину от 13 июня 1824)¹. Здесь более, чем «незнание приличий» («чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств»): здесь — подлость и цинизм. Из «уважения к самому себе» и из уважения к достоинству писателя Пушкин не хотел иметь дело с этими доносчиками и сыщиками (Видоками), «полицейскими», с этими «Бесстыдными», «журнальными балагурами», которые роняют «честное звание литератора»; их «фиглярство и недобросовестность унижают почтенное звание литераторов».

Конфликт Пушкина с булгаринской группой был неизбежен. Он назревал давно. «Г. чиновные журналисты, — напоминает Пушкин, как было дело, — вздумали было на-

¹ В Письме к нему же от ноября 1824 г.: «Что наши литературные паны и что сволочь?»

пасть на одного из своих собратиев¹ за то, что он не дворянин. Другие литераторы позволили себе посмеяться над неперпимостью дворян-журналистов. Осмелились спросить: кто сии феодальные бароны, сии незнакомые рыцари, гордо пребующие гербов и грамот от смиренной брапии нашей?» А те, помолчав немного, накинудись на «литературных аристократов». Пушкин был главной мишенью. Его «аристократизм», к тому же открыто и гордо декларируемый, давал, повидимому, благодарный повод: смеялись над аристократическими замашками того, чьим предком в сущности является какой-то арап, купленный шкипером за бутылку рома; поэт-де не более, как мещанин в дворянстве («Сев. Пчела», 1830, № 94). Пушкин поднял перчатку. «Что за аристократическая гордость,— писал он (в заметке 1830 г.),— дозволять всякому негодяю швырять в нас грязью». Защищать свое достоинство приходится на оба фронта: против знами и против «демократов». Полемика в защиту своей чести будет действовать поднятию «уважения к личной чести гражданина» и чистоты общественных нравов. Такова уж историческая судьба русской интеллигенции. «Дружина ученых и писателей,—многозначительно говорит Пушкин (в той же заметке),—казалось бы, стоит всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла». И Пушкин грудью отстаивал свое достоинство как личности и как писателя.

Дело серьезное,—припугнул он своих обидчиков: не забудем, что сатирические выходы демократических писателей XVIII в. подготовили крики черни: «les aristocrates à la lanterne!» Хотя, конечно, есть огромная разница между французскими и нашими демократами.²

¹ Именно на Полевого.

² Выкрики черни в глазах Пушкина еще не характеризуют всей французской революции: это — «один жалкий эпизод», «гадкая фарса в огромной драме».

Враги заподозрили аристократизм Пушкина: он ответил остроумным рассуждением в стихах о своем «мещанстве» и в прозе доказал, что его враги — чистейшие лакеи, которые издеваются над его происхождением потому, что его дворянский род уже не имеет реальной силы, и пресмыкаются перед новой знатью, очутившейся у власти по капризу исторической судьбы. Да, он — «не аристократ», с новой знатью не яхшается, но его предок-арап попал в руки к тому славному шкиперу, «кем наша двинулась земля, кто придал мощно бег державный корме родного корабля»; этот «арап Петра Великого» был «царю наперсник, а не раб». «Водились Пушкины с царями, из них был славен не один», но «суровый» род Пушкиных никогда не действовал пропив совести и чести. Решил Видок Фиглярин, что Пушкин — «во дворянстве — мещанин», а сам он, очевидно, — «в Мещанской дворянин». В прозаической заметке 1830 г. Пушкин с благородным негодованием дал отповедь «выходцу», который позволяет себе «марать грязью священные страницы наших летописей». Защищая свой род от наглого поругания «одной газеты, почти официальной», и вместе с тем выдвигая заслуги старинного, просвещенного дворянства, Пушкин охотно готов причислить себя к «мещанам-писателям». Низость болгарских нападок особенно оптеняется тем, что они направлены «не на новое дворянство, по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократию (*pas si bête!*)» — Булгарины не так глупы! — «Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности». Нет, они нападают «именно на старинное дворянство», потому что оно политически бессильно, и забывают, что это дворянство превратилось в «род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного», что отсюда выходят трудовая интеллигенция и большая часть русских писателей.

Лакеи господствующей знати, Булгарины, взразились от нее «аристократической» спесью: не они ли, эти «чиновные журналисты», кичатся какими-то своими гербами?

не они ли попрекали Полевого купеческим происхождением и винным заводом («пяпном ужасным, как известно, всему нашему дворянству!» — иронически замечает Пушкин)? не они ли непрошенно берут на себя роль «опекунов высшего общества» и защитников аристократизма? не они ли «поминутно находят одно выражение бурлацким, другое — мужицким, третье — неприличным для дамских ушей и т. п.» не они ли, как горничные и камердинеры, «спараются подделаться под светский тон» (на эту тему Пушкин много распространяется также в заметке по поводу «Графа Нулина»)?

А те, кого Булгарины иронически зовут аристократами, в сущности и не думают «величаться своим дворянским званием». «Никогда не видал я в «Литературной газете» ни дворянской спеси, ни гонения на другие сословия,—говорит Б. («Разговор», 1830):—Дворяне ли барон Дельвиг, князь Вяземский, Пушкин, Боратынский и пр.,—мне до этого дела нет. Они об этом не толкуют». А если и толкуют (как Пушкин), то не с тем, чтобы унижать другие сословия. «Заступаясь за грамотное купечество в лице г. Полевого, они сделали хорошо;¹ заступаясь ныне за просвещенное дворянство, они сделали еще лучше». «Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждого сословия, но смеяться над сословием потому только, что оно такое-то сословие, а не другое — нехорошо и непозволительно». «Литературная газета», во всяком случае, вооружилась против смешного чванства и заставила «чиновных литераторов уважать братьев-мещан». Взглянув на дело с обычной широтой исторического понимания, Пушкин в 1834 г. высказывает замечательное суждение: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

¹ Пушкин сделал это в «Отрывке из литературных летописей» (1829), возражая редактору «Вестника Европы», Каченовскому

Можно сказать, Пушкин приветствует грядущего разночинца. И во всяком случае верно констатирует факт. Прежде чем окончательно занять аванпосты культуры, разночинец уже давно действовал в литературе. Фактически в пушкинскую эпоху главным деятелем, по крайней мере, журналистики был уже разночинец, часто, впрочем, в союзе с инородцем (Каченовский, Надеждин, Белинский, Полевой, Погодин, Никитенко и др. рядом с Гречем, Булгаринным и Сенковским). Замечательно при этом то, что, когда дворянская группа, «литературные аристократы», в том числе и Пушкин, приступала к осуществлению своих журнальных планов, она искала рабочей силы в тех же разночинских рядах (вспомним, напр., появление Погодина в качестве редактора «Московского Вестника»). Однажды Пушкин не прочь был воспользоваться услугами Греча. Известно, как часто Пушкин и его друзья жаловались, что у них плохо ладятся журнальные дела и попрекали друг друга за бездеятельность. Литература, по признанию Пушкина, стала ремеслом, честной отраслью промышленности и торговли. Потребовался профессиональный работник печати.

Дворянский класс не мог сохранить наследственной чистоты своего состава. Тем более писательскому классу не было смысла держаться за сословно-классовые привилегии. Личное достоинство выше всяких классово-сословных преимуществ. И в данном случае высшим мерилom для писателя служит его личное значение. В «Отрывке из литературных летописей» (1829) читаем: «Никто более нашего не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук какое нам дело до гербов и пыльных грамот? Потомок Трувора или Госпомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны перед законами криптики».

В мирной республике наук и литературы Пушкин хотел бы видеть особую оценку людей, определяемую талантом и характером творчества каждого. Писатель,— и это

важнее всего,— должен быть на высоте своего призвания, на страже своей чести. Социально-экономическая ситуация сложилась так, что литература стала отраслью промышленности, и что класс писателей находится в зависимости от господствующего класса новой аристократии. Но писатель должен торговать рукописью, а не вдохновением и не совестью. Пресмыкательство перед сильными унижает писателя. Честность творчества и личная честь писателя—краеугольные камни, на которых покоится достоинство литературы как свободного искусства. Такою именно мыслил ее Пушкин в условиях своей эпохи. Всю жизнь отстаивал он свою «независимость», свое право «идти дорогою свободной, куда влечет свободный ум»:

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем,
Перед кумирами земными
Проходишь ты уныл и нем.
.....
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд
Тебе награда: им ты дышешь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

Последние три—четыре года внутренней жизни Пушкина отмечены печатью высокого и величавого спокойствия. То был уже период «Памятника»¹.

IX

Рассмотренный мною процесс классового самоопределения Пушкина не мог не найти себе всестороннего выражения в его художественном творчестве.

Выше мне приходилось пользоваться некоторыми произведениями поэта, но я делал это лишь в тех немногих случаях, когда авторские высказывания слишком явно выступали на передний план и содержали в себе насто-

¹ Ср. мою статью «Памятник нерукотворный» в первом сборнике Пушкинской комиссии.

ящие идеологические формулы. Творчество Пушкина — глубоко реально и жизненно. Мы заранее ждем, что все переживания, связанные с сложным процессом его исторических размышлений и классового самоопределения, отразятся по полноте, по часпично в отдельных его произведениях.

Русская история есть история усвоения европейской культуры, которая со времени Петра становится русской культурой. Ее ценность — непререкаема. Вопрос лишь в том, как использовать ее или, говоря иными словами, как понимать нормальный ход исторического процесса.

Пушкин превосходил славянофилов и Достоевского, изобразив таких беспочвенных дворян, как Карицкий и Корсаков в «Арапе Петра В.», как Онегин и особенно граф Нулин. Последняя фигура — более значительна, чем можно думать по «легкомысленному» сюжету этого стихотворного рассказа. К. Аксакову, когда он рисовал своего «цивилизованного» князя Луповицкого, приходилось только развивать черты графа Нулина, который, вернувшись «из чужих краев, где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы», «святую Русь бранит, дивится, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже спрах». Это писалось в 1825 г.

Сделавшись органической частью исторического бытия русского дворянства, европейская культура не может быть отброшена в угоду преходящим настроениям и квазному патриотизму. В «Рославлеве» (1831), написанном к качеству корректива к одноименному роману Загоскина, Пушкин описал поверхностный патриотизм дворян и в лице Полины показал истинное отношение к культуре¹.

Культурный историзм служит критерием для художника Пушкина, когда он предметом творчества делает проблемы классового самоопределения.

¹ В одной заметке Пушкин высмеивает тех, которые «почитают себя патриотами потому, что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке».

Мотивы, вытекавшие из личной родословной Пушкина, которой, как мы знаем, он придавал принципиальную важность, не только послужили содержанием «Моей родословной», но и должны были лечь в основу поэмы «Родословная моего героя» (1833). У чипапеля нет ни малейшего сомнения в том, что Езерского поэт наделил своей родословной и своей психологией; да он и не удержался от того, чтобы в «лирических отступлениях» не повторить своих излюбленных мыслей об уважении к истории дворянских родов, о заслугах старинного дворянства, об его упадке и об отношении к новой знати. Если другим безразлично, кто был их родоначальник («Мстислав, князь Курбский или Ермак, или Митюшка-цаловальник»), то это потому, что они гордятся «красою собственных заслуг, звездой двоюродного дяди или приглашением на бал» туда, где дед их не бывал. Это — пресмыкающиеся дворяне. Езерский — из родовитых, но захудалых дворян: живет он жалованьем и не более, как коллежский регистратор (чин самого Пушкина). Герой с таким социальным положением особенно близок Пушкину, и он берет его под свою принципиальную защиту от тех криптиков, которые найдут Езерского незавидным героем и попребуют от поэта более возвышенного предмета, т. е. героя в чинах и с весом в обществе.

Известна генетическая связь между Езерским и Евгением «Медного Всадника» (1833). Евгений — также «родов униженных обломок»: в минувшие времена его фамилия в родных преданиях звучала, но ныне светом и молвой забыта; он — беден, «дичится знатных», служит и должен прудом доставлять себе «и независимость и честь». В Петре Евгений может видеть своего врага, прежде всего потому, что вина за последствия наводнения лежит на том, «чьей волей роковой над морем город основался», а также и потому, что, как мы знаем, именно с Петра, с его табелью о рангах, начинается унижение родовитого боярства. В конце концов, сам поэт примиряется с этим фактом: историзм брал верх: «государственная польза»

требовала возвышать «достоинство» и неродовитых людей. Главное же то, что государственное дело Петра — неизмеримо велико: ведь он насаждал ту культуру, которая выросла самого поэта. Поэтому безумен гнев Евгения против «мощного властителя судьбы», и не проклятия шлет царю поэт, а в торжественном вступлении воспевает его исторический подвиг. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!»¹ «Медный Всадник» как бы разрешает внутреннюю борьбу поэта, служит своего рода идеологическим катарсисом и стоит в преддверии последнего периода его жизни².

Велика честь служить делу Петра, и Пушкин гордится своим предком арапом Петра Великого. Историческая повесть о Петре (1827) была задумана как из общего интереса к крупному историческому явлению, так и по связи с размышлениями о судьбах дворянства.

История дворянского класса дала сюжеты нескольким произведениям Пушкина.

Борьба боярских родов (после отмены местничества), в которой деятельное участие принимают «мятежные»

¹ Смысл повести «Медный Всадник», очевидно, может быть раскрыт лишь в свете взглядов поэта на Петра. Важно сравнить с нею, напр. то, что говорится в материалах к истории Петра (1832—1834): Пушкин различает общее значение петровских реформ и его частные указы, цель преобразований и средства, примененные царем.

² В Пушкинской комиссии О. Л. Р. Сл. (в марте текущего года) Д. Д. Благой прочитал доклад (см. «Миф Пушкина о декабристах» в «Печ. и Рев.», 1926. кн. 4 и 5), в котором доказывал, что «М. Всадник» есть символическая картина восстания декабристов, т. е. широко развернул ту мысль, которая звучит в словах Н. Л. Бродского: «замысел «Медного Всадника» (1832) стоял в связи с декабрьским восстанием» (статья «Декабристы в русской художественной литературе» — в журн. «Каторга и ссылка», 1925, № 8, стр. 192). В символической интерпретации поэмы Пушкина Д. Д. Благому, однако, не удалось вполне согласовать между собою образы Петра, наводнения и Евгения. Как далеко можно заходить в символических толкованиях, показывает пример Л. Н. Войтоловского, который в «Египетских Ночах» видит символическую картину того же декабрьского восстания («История русской литературы XIX и XX веков», ч. I, 1926).

и «непокорные» Пушкины, послужила одним из существенных компонентов для «Бориса Годунова» (1825). В «Арапе Петра В.» (1827) видим следующую стадию в истории дворянства: преобразователь, старое боярство и новое дворянство. «Капитанская дочка» (1834—1836) изображает дворянство в екатерининскую эпоху, в условиях страшной для него пугачевщины, причем поэт продемонстрировал непричастность крестьянства к бунту. Исторические события разворачиваются на фоне провинциальной дворянской жизни. Гриневы — люди долга и чести, те дворяне, которым Пушкин особенно симпатизирует. Повесть, непосредственно примыкающая к «Истории пугачевского бунта», носит дворянскую окраску и в целом и в частности. Один из шедевров Пушкина, «История села Горюхина», есть, вместе с тем, эпизод из истории «знаменитого рода Белкиных», чьи имена «раздробились и пришли в упадок».

К тому же циклу «дворянских» сюжетов можно отнести и «Скупого рыцаря» (1830): в состав его идеологии входит также идея дворянской чести, — в форме коллизии между скупостью отца и честью молодого рыцаря (есть некоторая аналогия с отношением Пушкина к отцу).

У Пушкина нет ни одного великосветского романа, ни одной великосветской повести, т. е. произведений, исключительно посвященных данной социальной среде. Это очень характерно для него: Пушкин был дворянским, но не великосветским писателем. Зато он не упускал отдельных случаев изображать людей высшего общества и делал это всегда в тех самых красках, какими пользовался еще в лицейских стихотворениях. Попутные картинки и портреты (как, напр., в «Пиковой даме») зарисованы с острой экспрессией и полны социальной значительности. Главный творческий интерес Пушкина сосредоточивается на жизни среднего дворянства.

Расслоение дворянства, социальный конфликт внутри класса между отдельными группами, — эти факты послужили основой сюжета для «Дубровского» (1832) и для нескольких задуманных, к сожалению, неоконченных романов.

Старинные, но бедные дворяне Дубровские отстаивают свою независимость и честь от знатного, богатого и гордого Троекурова, который — к слову сказать — был человеком невежественным: хотя у него и была огромная библиотека, но он ничего не читал, кроме «Современной поварихи». В окружении Троекурова — кн. Верейский, «спарый волокита», да Антон Пафнутович Спицын, рагвену. Дворянское *point d'honneur* вырождается у Троекурова в гонор, в барское высокомерие, а у Дубровского это — подлинная честь. Симпатии автора на стороне Дубровских. Как Гриневыми, так и Дубровскими мужики вполне довольны и рабски преданы им (Троекуровым только гордятся); молодой Дубровский именует их своими «детьми», но, конечно, держится как настоящий помещик. «Барин» остается он и среди разбойников, которых величает просто «мошенниками». Разбойничьи народные песни относятся к своим героям существенно иначе.

«Роман в письмах» (1829—1830), «Гости съезжались на дачу» (1831—1832), «В Коломне на углу маленькой площади» (1831), «Русский Пелам» — все эти начатые и неоконченные произведения, повидимому, задуманы с целью изобразить жизнь различных слоев дворянства в их столкновении. Везде большой свет, аристократия и среднее дворянство, как социальная антитеза. В набросках двух первых произведений автор использовал заметки о дворянстве, повторив здесь свои мысли нередко с буквальной точностью. Когда странствующий испанец заговорил со своим русским собеседником о высшем обществе, разговор принял «самое сатирическое направление» («Гости съезжались»). В наброске «В Коломне на углу маленькой площади» автору понадобились рассуждения о «светских аристократах» и о рагвену (жена князя Григория — дочь цаловальника). Действие «Романа в письмах» происходит в деревне, хотя главные герои (Владимир Z* и Лиза) — люди столичные. Их роман представляет социальный интерес: Владимир — культурный представитель новой аристократии, а Лиза — бедная представительница старинного рода,

«смирненная мещанка», живущая у богатых родственников на положении воспитанницы¹. Владимир — идеолог дворянских и помещичьих принципов в духе самого Пушкина. Столица и деревня сравниваются к невыгоде первой. Владимир переродился в деревне. Прекрасно чувствует себя и Лиза в деревне у бабушки (неп роскоши, но неп и унижения: «Живу дома и хозяйкою»). А рядом с ней деревенская красавица Машенька, премилое создание. Ее оценила и Лиза. «Теперь я понимаю, — пишет она, — почему Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень: оне их истинная публика». Уездные барышни, действительно, пользуются неизменными симпатиями поэта, который не упускает случая сравнивать их с холодно-чопорными светскими красавицами. В «Барышне-крестьянке» (1830) находим целую лирическую пираду во славу уездных барышень, хотя и окрашенную легким юмором («что за прелесть эти уездные барышни!»: в них «чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам»; их существенное достоинство — «особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия»). Не забудем, что круг уездных барышень возглавляет сама Татьяна Ларина. Да не на «уездной ли барышне» и женился Пушкин?

«Русский Пелам» (1835) обещал необыкновенно широкую картину дворянской жизни, столичной и усадебной. Программа содержит интригующие пункты.

К величайшему сожалению чипателей, «Роман в письмах» и «Русский Пелам» остались неоконченными. По замыслу они могли стать рядом с «Евгением Онегиным».

«Евгений Онегин» — усадебный роман в самом почном значении этого слова. Здесь поэт — в родной стихии.

¹ Институт воспитанниц — типичное явление для данной социальной среды. «Родов униженных обломки» — мужчины должны служить и вообще трудиться, девушки попадают в воспитанницы. У Лизы «Романа в письмах» есть pendant в лице Лизаветы Ивановны при графине («Пиковая дама»). Писатели не раз уделяли внимание этому сюжету. См., напр., в произведениях В. Ф. Одоевского (ср. в моей книге о нем).

Столицы — роскошный придаток к деревне. Нигде подсознательная психология Пушкина не сказалась с такой непрерываемой выразительностью, как именно в «Евгении Онегине». Там и сям звонким «онегинским» стихом набрасывает Пушкин контрастные картины «черни светской», большого света с его «мертвящим упоением», с «бездушными гордецами», «блистательными глупцами» и т. д. В столичной госпоиной всех занимает «такой бессвязный, пошлый вздор,.. не улыбнется помный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой!» Тамьяне, свежей деревенской девушке, «душно здесь... она мечтой спремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам». Ставши княгиней, она сохраняет те же симпатичные поэту влечения души. Самая светскость приняла в ней облагороженные черты: «Всё тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок du comte il faut. С головы до ног никто бы в ней найпи не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется vulgar. Кокетства в ней ни капли неп — его не перпит высший свет». Именно так представлял себе Пушкин лучшие стороны «света» в те редкие минуты, когда ему случалось сказать о нем доброе слово. Владимир З* находил в Лизе «много увлекательного» («Роман в письмах»). Подобно Тамьяне-княгине, она соединяла в себе хорошую светскость с качествами уездной барышни: «Эта тихая¹, благородная стройность в обращении — главная прелесть высшего петербургского общества — а между тем, — что-то живое, снисходительное, добродородное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жесткого в ее суждениях». Тамьяна и Лиза, видимо, удовлетворяют требовательному вкусу самого поэта.

Вокруг «Евгения Онегина» тесным кольцом располагается ряд других произведений, проникнутых усадебным настроением или обвеянных поэзией простого русского быта. Пушкину хотелось попросту, без писательских за-

¹ Ср. выше о Тамьяне: «Всё тихо, просто было в ней».

тей, взглянуть на жизнь скромных людей, так сказать их же собственными глазами — глазами Белкиных (повести Белкина; историк села Горюхина также из рода Белкиных). Поэт чувствует теперь особое наслаждение в том, чтобы в благодушном тоне или с теплым юмором рассказывать «преданья русского семейства да нравы нашей старины» или излагать в особо спланированной манере историю села Горюхина, или в шушловом повествовании передавать несложные события, происходившие в каком-нибудь домике в Коломне, а не то в усадьбе Натальи Павловны («Граф Нулин»). При этом в последних двух произведениях нашлось место для излюбленной антитезы: Параша и надменная, хотя и несчастная графиня; деревенская помещица и влиятельный граф.

Не обошел наш художник и междуклассовых отношений. Острая борьба классов показана в «Сценах из рыцарских времен» (1835). Типичная картина из эпохи европейского феодализма, когда противостоят друг другу рыцари (дворяне) и бюргеры (мещане). Классовые противоречия вызывают драму в душе молодого бюргера-поэта. Оскорбленный Франц, как Дубровский, делается разбойником. Сюжет дал возможность автору осветить проблемы чести и независимости, а также социальное положение певца, т. е. темы, которые глубоко переживал сам Пушкин. На фоне пугачевского бунта разворачивается действие «Капитанской дочери» (1834—1836). Трактовка событий остается той же дворянско-классовой, что и в «Истории пугачевского бунта». Не только Гринев и Савельич называют пугачевцев злодеями, но и сам Пугачев именует своих сообщников ворами и пьяницами (как Дубровский свою шайку). Мужики примкнули к движению по недоразумению. «Бунт их был — заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования»; поэтому они быстро явились с повинной и, как ни в чем не бывало, пошли на барщину. Народный бунт в России — всегда «бессмысленный и беспощадный». «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодцы и не знают нашего народа, или уж люди

жестокосердые, которым и своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка»¹. Из классового неравенства возникают драматические коллизии (конечно, разной степени напряженности) в сюжетном построении «Русалки» (1832) «Станционного смотрителя» (1830) и «Метели» (1830). Известно, что Маша Троекурова, воспитанная «в аристократических предрассудках», долго не обращала внимания на молодого учителя-француза, т. е. на Дубровского, и Алексею Берестову, принимавшему переодетую барышню за крестьянку, стоило немалого труда преодолеть подобные же «предрассудки», т. е. полюбить мнимую Акулину, несмотря на «расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкою».

Х

Итак, Пушкин отчетливо сознавал, что он живет в классовом обществе. О бесклассовом государстве он не имел понятия; по крайней мере, не помышлял о нем. Себя Пушкин мыслил русским дворянином и дорожил своей принадлежностью к той дворянской группе, которая создавала русскую культуру, и из которой выходила большая часть русских писателей. У Пушкина не было оснований предпочитать дворянству какой-нибудь другой класс. Называя себя «мещанином», он говорил всё о том же среднем дворянстве, которое «составило род претъего сословия». По своему культурному значению в прошлом и в настоящем среднее дворянство стояло выше всех других. Социальное положение среднего дворянина и помещика давало писателю возможность быть в непосредственном соприкосновении с почвенной жизнью России, с ее бытом, народом и землей. Пушкин не чувствовал потребности служить чужому классу. Он полагал, что, служа культурным интересам своего класса, он служит и крестьянству, и разночинству, и всему народу русскому. Чувство дворянской чести соединялось в нем с сознанием своей куль-

¹ Впрочем, приведенные цитаты в окончательной редакции повести отсутствуют.

турной миссии. Самое стремление Пушкина к классовому осознанию своей личности—глубоко симптоматично: в этом акте он выступал подлинным идеологом класса, который, в результате, по крайней мере, столетнего процесса своего развития, социально-политически сложился в определенные формы и стал вполне классом *an und für sich*. Устами Пушкина говорила мыслившая часть дворянства, говорили носители его культуры. Развитие этой культуры пережило свой знаменательный процесс: брожение, длившееся также более столетия, переработало все ингредиенты, приходившие большей частью со стороны, и получило известную кристаллизацию. Класс, сложившийся социально-политически, имел уже зрелую культуру, которая к сороковым годам достигает своего расцвета. Настал момент как раз для социально-политического и общекультурного самовыявления. Пушкин почувствовал это, может быть, острее, чем другие идеологи класса (эта большая острота обуславливалась как гениальностью его натуры, так и индивидуальными особенностями его классовой жизни), и громко заявил о своей солидарности с классом, с его историческим и культурным назначением.

Процесс литературной эволюции был предуганен тем же ходом культурной жизни. Литература, т. е. ее верхи, складывалась в процессе усвоения разных элементов европейского творчества (классицизма, сентиментализма, романтизма с его разветвлениями). Процесс должен был завершиться синтезом, т. е. созданием самобытных форм творчества, крепко связанных с грунтовыми слоями культуры. Эту историческую задачу выполнил Пушкин как писатель. Самоопределение русской литературы за огромный период ее существования совершилось также через него.

Пушкин жил буквально в родной стихии, там, где родился. Отсюда—душевное равновесие, светлое приятие жизни, органичность и гармоничность творчества. Только бы деспотическая власть, спесивая знать и гнусные холопы не отравляли поэту существования. Оставаясь в пределах

своей классовой группы, Пушкин хотел наилучшим образом творить, т. е. творить спокойно и свободно.

...Никому

Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.

Субъективно поэт считал себя свободным от классового детерминизма. «...От кого бы я ни происходил,— от разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей,— писал он (в заметках о «Борисе Годунове», 1827—1831),— образ мыслей моих от этого никак бы не зависел».

В понимании исторического процесса Пушкин вообще не допускал абсолютного детерминизма. По поводу «Истории» Полевого он писал (1830): «Не говорите: иначе нельзя было бы. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеческой были бы предсказаны в календарях, как затмения солнечные. Но провидение — не алгебра; ум человеческий, по международному выражению — не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно предвидеть ему случая. Один из остроумных людей XVIII столетия предсказал камеру депутатов, но никто не мог предсказать ни Наполеона, ни Полиньяка».

Развитие поэзии, по мнению Пушкина, в значительной степени совершается автономно. В заметке о VII главе «Евгения Онегина» мы читаем такие рассуждения: «Век может идти себе вперед, и науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, но поэзия остается на одном месте, цель ее одна, средства те же... Произведения великих поэтов остаются свежи и вечно юны — и между тем как великие представители старинной астрономии, физики, медицины и философии один за другими стареют и один другому усту-

пают место, одна поэзия остается на своем неподвижно и никогда не теряет своей младости».

В этих словах есть своя доля истины: устаревшие идеи науки становятся ложью, а образы, созданные поэтом, даже старея, сохраняют художественную привлекательность, как образы Гомера, Эсхила, Данте и Шекспира. Вечной молодости, однако, нет ни у кого, и поэзия не остается на своем месте.

«Образ мыслей» Пушкина и его творчество носят на себе печать класса и эпохи. Сам поэт чувствовал и сознавал свою кровную связь с данной исторической средой. Он — не пришлец, случайно приспособляющийся к новой среде, а гениальное завершение длительного процесса в истории дворянской культуры и в истории русской литературы.

Разночинец Белинский в сороковых годах с осуждением отнесся к классовым тенденциям поэта, поскольку они выразились в «Родословной моего героя». Критик видел в поэте защитника дворянской спеси и доказывал, что всякая спесь есть «признак грубости нравов и невежества», и что «не происхождение, а жизнь приносит человеку честь или бесчестье». Стих Пушкина, «что проста из бар мы лезем в tiers-état», Белинский комментирует указанием на то, что дворянство превращается в буржуазию, и хорошо делает: «барство поддерживается, прежде всего, деньгами... Тут видна скорее сметливость и догадливость, нежели простота. Фабрики, компании, акции, спекуляции, предприятия, обороты, — всё это вещи, может быть, действительно не аристократические, зато уже и совсем не простоватые»... Вместо юмористической повести, каковой является «Родословная», критик советовал поэту «написать дидактическую поэму о пользе свеклосахарных заводов или о превосходстве плодопеременной системы земледелия над трехпольной». В этом пункте Белинский плохо понял Пушкина, но зато гениальный критик превосходно понял социологические основы пушкинской поэзии. Определенно заявил он, что «муза Пушкина это — девушка»

аристократка, в которой обольстительная красота и грациозность непосредственности сочетались с изяществом пона и благородною простотою, и в которой прекрасные внутренние качества развиты и еще более возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сделалась ей второй природой». В «Евгении Онегине» личность поэта отразилась особенно полно и ярко: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им 'класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на всё, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина». «Он (Пушкин) любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества, и к которому принадлежал сам». Белинский не только констатировал факт, но и верно объяснил его. История русского общества, со времен Петра Великого, убеждает критика, «что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества», что среднее дворянство — «во всех отношениях лучшее сословие», и что во времена Пушкина дворянство находилось «в апогее своего развития». Оттого Белинский не боится сказать, что «Онегин» является «в высшей степени народным произведением», а сам Пушкин — «более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников»... «Как поэта, Пушкина узнала вся Россия и теперь гордится им, как сыном, делающим честь своей матери».

Марксист Плеханов — и в этом действительное достоинство «научной критики» — не разделяет упреков Белинского по адресу поэта за его аристократические пристрастия. Данный вопрос, — говорит он, — гораздо сложнее, чем это думал Белинский. В этих пристрастиях было не одно подражание Байрону и вообще аристократическим писателям Западной Европы. Нет, в них было очень много своего, русского». Ведь Молчалины, пресмыкавшиеся перед всяким

чиновным баринoм, сами могли дойти «до степеней известных» и возомнить себя большими аристократами. «Мы вообще,—пишет Плеханов,—не сочувствуем аристократическим пенденциям, но, право же, самозванный аристократизм чиновных *parvenus* гораздо несноснее аристократизма родовитого дворянина». Приходится наблюдать и такое явление, что Молчалины, еще не успев сделаться совсем-совсем большими барами, проявляют «свою новорожденную спесь особым родом демократизма, отражающегося в беззубых выходках против людей знатной породы,—конечно, в том только случае, если эти люди далеки от власти. Такой демократизм близок к фальшивому демократизму разбогатевшего буржуа, который из зависти нападает на аристократию, мечтая в то же время о том, как бы приспособить за князя или хоть бы барона свою буржуазную дочку. Пушкину не раз приходилось сталкиваться с жалким и гнусным демократизмом молчалинского пошиба, и он насмеялся над его ослиным копытом. Что же? По-своему он был прав... Всё на свете относительно. Это всегда забывают просветители». Что же касается основного взгляда Белинского на социальный смысл пушкинского творчества, то в этом отношении и Плеханов вполне соглашается с криптиком сороковых годов.

Можно думать, что современная марксистская критика уже выработала твердую точку зрения на поэзию дворянина Пушкина. Ее формулировку можно видеть в заявлениях А. В. Луначарского («Литературные силуэты», стр. 49, 67—68): «В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба... Пушкин многолик, отнюдь не мономан. Пушкина невозможно вогнать ни в какую формулу, не выдав себе самому свидетельства в чрезвычайной узости и педантизме. Конечно, очень многое в идеях Пушкина и его чувствах принадлежит к области классового дворянства, характеризует собою только его эпоху, далеко уходит за пределы имперского для нас. Но рядом с этим у Пушкина имеется огромное

и еще далеко не раскрытое эмоционально-идейное содержание общечеловеческой значимости», т. е. предвосхищающее ту «общечеловеческую культуру», которая «сделается возможной только при законченном коммунизме».

Через культуру своего класса Пушкин был связан с культурой всего образованного мира. Жадно впитывая в себя всё содержание европейской культуры, он шел «с веком наравне». Оттого в его творчестве так много мировых мотивов.

Июнь 1926 г.

ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ПУШКИН

СБОРНИК ВТОРОЙ

Редакция Н. К. ПИКСАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД